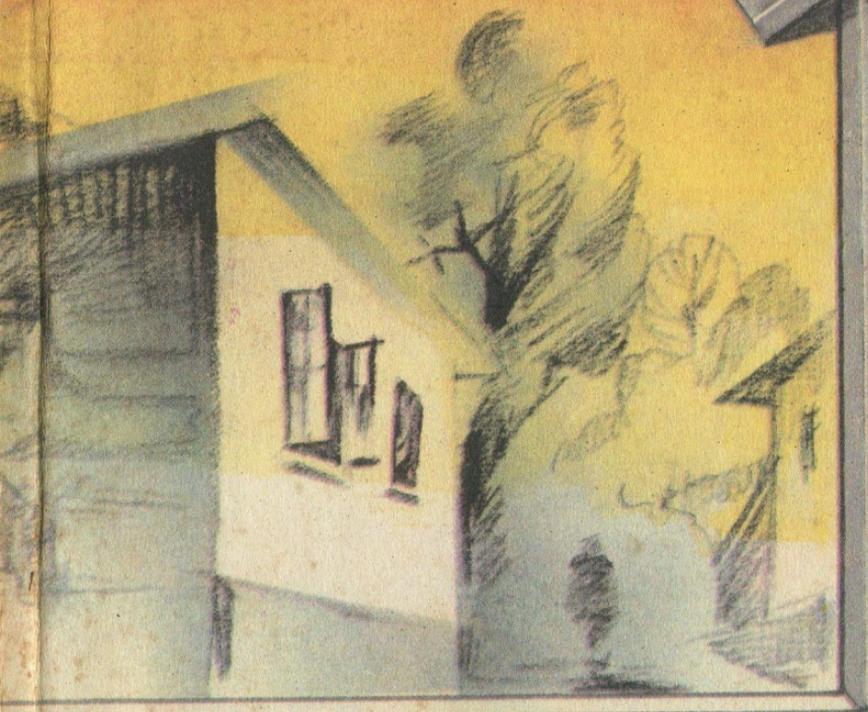
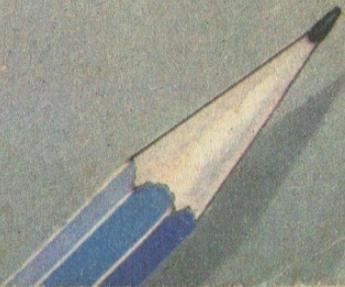


**МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ**
1989
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ



Владимир БАРВЕНКО

УТРО ЧУДЕС





Владимир Владимирович **БАРВЕНКО** родился в городе Шахты Ростовской области. Закончил Шахтинский педагогический институт. Служил в Советской Армии. Работал на обувной фабрике, строителем, комсомольским работником, учителем в ПТУ. В настоящее время режиссер киногруппы по пропаганде передового опыта хлопчатобумажного комбината.

Печатался в газетах «Молод», «Комсомолец», «Комсомольская правда», журналах «Дон», «Работница», «Вожатый», «Комсомольская жизнь», коллективных сборниках Ростиздата и «Молодой гвардии».

Живет в городе Шахты.

Владимир Барвенко запомнился мне по рассказу, напечатанному в журнале «Дон». А повесть его «Утро чудес» заставила подумать, что он «постучался» в литературу не случайно. Радовали искренность, свежесть чувства, знание того, чем автор решил поделиться с читателями.

Но требовала повесть и дополнительного вмешательства авторского пера, о чем я и сказал Владимиру Барвенко при встрече. Вмешательство это затянулось на три года, прежде чем, по мнению самого автора, повесть состоялась. Я с этим мнением согласен. Быт и нравы шахтерского города, его молодежи не списаны автором с чужих страниц, а пережиты, выстраданы.

По моему, главная удача автора — это образ Лиды Степанковой, девушки высокой нравственной чистоты и силы.

В литературу идет одаренный писатель, которому есть о чем побеседовать с людьми.

Анатолий КАЛИНИН

Владимир
Барвенко

Утро
чудес

Повесть

Москва
«Молодая гвардия»
1989

ББК 84 Р7
Б 24

Художник В. ЗАВЬЯЛОВ

Барвенко В. В.

Б 24 Утро чудес: Повесть / Владимир Барвенко; [Худож. В. Завьялов].— М.: Мол. гвардия, 1989.— с.: ил.;— (Б-ка журн. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»; № ()).

ISBN 5-235-01147-3

ISSN 0131—2251

Проникнутая светлым лирическим чувством, психологически достоверная повесть В. Барвенко рассказывает о юности паренька из небольшого провинциального города.

ББК 84Р7

© Издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1989 г.
№ 29 (392)

Выпуск произведений в «Библиотеке журнала ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия» приравнивается к журнальной публикации.

ISBN 5-235-01147-3

ISSN 0131—2251



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДВОР

Город моего детства всегда встает передо мной в легкой дымке. В нем все чуточку нерезко, как на акварелях, лишено движения. И велико желание взять кисть, коснуться пыльных переулков и старых дворов, где жизнь замерла, кажется, с тех пор, как ты их оставил, тронуть для того, чтобы вернуть картине прозрачность и это утерянное движение. Но понимаешь, что твой порыв — лишь грустный обман, что зыбкость контуров изменить нельзя, а движение на полотне никогда и не прекращалось, просто оно стало иным, независимым от твоего времени.

Теперь мой город существует как бы в двух измерениях — тот, который был на самом деле, и тот, который нарисовало воображение — полный волшебства, очарования и надежды. И оба города бесконечно дороги мне, хотя с годами они все больше расходятся, удаляются друг от друга. А между ними уже возник

и утверждает себя третий, реальный город, с теми же улицами и проспектами, но с новыми дворами и, конечно, с новыми людьми. В нем, верно, есть и тот, и другой, воображаемый и прошлый город, но нет и никогда уже не будет ни того, ни другого...

Край мой шахтерский, терриконовый, куда ни глянь — всюду горы синей породы, которые в разное время года и увидишь по-разному. Те, что далеко на горизонте, можно сравнить с голубыми парусами в морских просторах, а те, что вплотную примыкают к поселковым улицам и дворам, — с заплывшими в гавань кораблями; зимой ровные, припорошенные снегом, они походят на египетские пирамиды, как на картинке в учебнике истории, а ранней весной, славно умытые первыми дождями, наши терриконы сияют под солнцем, точно рыцарские шлемы. Впрочем, если нырнуть в Лисичкин пруд и заплывать до середины и долго-долго смотреть на лимонно-розовые облака, а потом вдруг перевести взгляд на синюю гору, та так и вспыхнет оранжево-красным и станет большой и румяной булкой. Так бывало.

По терриконикам разгуливали вагонетки, высыпали породу, разнося окрест какой-то восторженно-хохочущий грохот: «Ух! Хо-хо»... На терриконах курились рваные островки, будто на вулканах. Резиновый, пригорклый чад ожигал ноздри, если, конечно, на гору взбираться. И взбирались... На вершине ее вполне могли жить боги, у которых можно было выведать, каково там, оставшимся навечно на чужбине отцам, или увидеть ту единственную, заветную путь-дорожку от горизонта, по которой отец всем смертям назло возвращается наконец домой. Про богов хочешь — верь, хочешь — нет, это твое личное дело, к тому же мой отец с войны пришел целехонек, здравствует себе, но я лазал на «верхотуру» из любопытства, увлекаемый всеми. А впервые полез еще и потому, что был уверен — там, за горизонтом, непременно должно быть море. Моря я не увидел, зато увидел свой город с хорошей высоты. Я без труда отыскал в нем свою улицу неподалеку от центра и изумился.

Улица наша — Красных Зорь — из каменных домиков, саманных мазанок с подслеповатыми оконцами, из низких бараков, серых гребешков заборов. Дворы плотно застроены сараями, куроньками и флигелями.

Из-за этого великого множества невообразимых в смысле материала и архитектуры строений, да еще вкривь и вкось, как бог на душу положит, я всегда считал нашу улицу самой захолустной на всем белом свете. И верно, отчего бы это ей быть стройной, ровнехонькой, как проспект, если нашим соседям — слева, справа, напротив — было решительно наплевать, по какой такой команде дом стоит в общем ряду? Впрочем, дело не в том, как будет смотреться улица с высоты, например ближайшего террикона. Не надо думать, что на нашей улице люди только и рождались, чтобы наскоро сгородить какой-нибудь «востроглазый» флигель и прожить в нем жизнь, а затем проехать по середине улицы последний раз под скорбные звуки меди, что называется, от души, и кануть в Лету. (Чего-чего, а хоронили у нас во все времена пышно и хлебосольно.) Нет-нет, не надо так думать.

Однако с вершины террикона улица Красных Зорь оказалась совершенно прямой и довольно широкой, по-своему даже нарядной: взгляд легко простреливал ее до ажурных шахтных копров на противоположном конце, за которыми открывались ярко-голубые, почти васильковые дали. Они еще сильнее захватывали, манили морским обманом. У подножья — пятачок пустыря, а следом разлив Лисичкина пруда с мутновато-синей водой. По бережку мостки из черных осмоленных шпал — с них женщины-горнячки выполаскивали белье, чаще всего серые шахтерки, а пацаны удили бубрей и ныряли. А чуть поодаль, ниже, речушка Грушка — ее упругая нить как бы подшивала края сбегających к берегам хозяйских палисадников с «гуляй-заборами» из частокола или камыша крупной искрящейся стежкой.

На пустыре, сочно поросшем репейником, лебедой и сурепкой, были видны мелкие воронки и окопчики, точно оспины. Там не переставая звенели мальчишеские голоса. И хотя война уже ушла на добрую сажень, на пустыре после обильных дождей ржавый суглинок бугорков еще расцветал матово-зелеными россыпями гильз, и мальчишкам за первыми тычками лопаты мерещились немецкие автоматы с полными обоймами.

И был еще паровозик-кукушечка с десятком груженных углем платформ — он выкатывал с шахтного двора.

И еще — звуки...

Конечно, я был немало удивлен, увидев свою родную улицу необыкновенной, как проспект в большом-большом городе. Хотя наверняка ничего такого особенного в ней и не было. Просто улица, какие, должно быть, еще сохранились в шахтерских городах на фоне неизменных терриконов, копров и голубых далей горизонта. Это моя взрослеющая душа коснулась будущего. Шел одна тысяча девятьсот пятьдесят... год, и я жил ожиданием перемен. Впрочем, все мы тогда жили ожиданием перемен...

Глава первая

Четвертая четверть в седьмом классе началась у меня с того, что я простудился. Конец марта выдался теплым, как-то в одночасье истаяли снега, и воздух потерял студеность. Это был ласковый обман, но всегда ведь думается, что прожитые весны приходили раньше и были теплее и ярче. Во всяком случае, мостовая за моим окном подсохла, и из дворов высыпали мальчишки играть в футбол. Должно быть, на этом футболе я и простыл. Словом, в первый после каникул учебный день я пришел в школу с крепким насморком, но для того, чтобы отпроситься с уроков, надо было иметь более серьезные основания. Ранней весной и поздней осенью в нашем классе насморк — привычное явление.

Несколько дней я шмыгал носом и чихал. Потом вдруг насморк прошел. Встал утречком, в носу тишина, и я облегченно вздохнул. Только при выдыхании слабо потрескивало в груди, словно кто-то в ней осторожно ломал сушняк. «С этим, — подумал я, — жить можно», — и отправился в школу. К вечеру, однако, я совсем охрип, и дышать стало трудно. Ночью подскочила температура, а утром мама вызвала врача. Оказывается, я перенес на ногах грипп, и теперь у меня осложнение — то ли бронхит, то ли воспаление легких.

После уроков явился мой друг Сережка Катриш узнать, в чем дело. Я сказал ему, что ночью была температура под сорок.

— Я тебе задание принес. По алгебре новая тема. Ты, Эдка,

учи, понял. Ученье — свет, — ухмыльнувшись, сказал Катриш и полез в портфель за дневником, и я вдруг обнаружил, что Сережка крепко вымахал за зиму, должно быть, меня догнал, стал худощ и сутул. Рукава коричневой вельветки потянулись к локтям. Он подал мне дневник, а сам сел на край постели и надел очки — два колесика в коричневой оправе, лицо в них получилось очень узким, лобастым. За стеклами очков зеленые насмешливые глаза.

— Ну, я пошел, мужик. Привет. Завтра забегу. У меня дела.

В самом деле, мой друг был очень деятельный парень. Он посещал три или четыре кружка в Доме пионеров и был начинен самой разнообразной информацией. Сережка знал все школьные тайны и считался своим в разных компаниях. Он мог вывести что угодно, мгновенно понимал задачу, брал след, как отличная ищейка. Его звали Кат, простенькое прозвище, сокращенный вариант фамилии, но я старался не употреблять это прозвище: Сережка страшно обижался, когда я нечаянно величал его — Кат.

Сережка и потом с завидной аккуратностью проводывал меня после школы. Приносил домашние задания и рассказывал о школьном житье-бытье.

Однажды Катриш сообщил, что предложил дружбу Ритке Жарковой из параллельного класса и теперь вечерами гуляет с ней в центре города, где полно народу, как в праздник. И вообще на улице так жарко, просто необыкновенно. В воскресенье они собираются на велосипедах проехать на Лысую горку за тюльпанами. Словом, всюду земная благодать — скворцы прилетели, и трава на газонах стала по щиколотку. Только я вот лежу, и все это обидно проходит мимо меня. Но является следом за Серегой соседская девчонка Лидка Степанкова и говорит, что Катриш все выдумывает. Еще прохладно, особенно вечерами, а траве далеко до щиколотки, просто очень она зеленая, бархатистая — чистый изумруд. А скворцы прилетели — это верно.

С Лидкой Степанковой я дружил.

Это, конечно, не то, что у Сереге с девчонкой из параллельного класса. Лидке тоже было четырнадцать лет, она училась в седьмом классе, только в другой школе. В прошлом году Лидка

заработала разряд по спортивной гимнастике и из нашей школы, до которой от дома рукой подать, перешла в другую. Там учились ее подруги по секции и был хороший спортивный зал. (Каждый год наши шефы-горняки обещали построить спортивный зал, но мы по-прежнему занимались физкультурой в коридоре, где не хватало разгона даже для того, чтобы нормально перепрыгивать «козла».)

Когда я заболел, Лидка ухаживала за мной. Даже один раз кормила меня с ложечки.

Мы жили в длинном бараке из восьми квартир. Во дворе — рядок щелястых угольных сараев, несколько летних кухонек, колонка с желобом из цемента и на отшибе — «удобства» (дом походил на крейсер, во всяком случае таким я себе его воображал).

Конечно, барак наш был коммунальный, но квартиры в нем с коммуналками не сравнишь. Это Сережка Кат жил в настоящей коммуналке — в четырехэтажном доме в центре. Противнее всего для меня был в его квартире коридор — серый тоннель с вечным запахом стираного белья и керосинки, где на стене, рядом с Сережиной дверью, висел аккуратно прихваченный за раму подростковый велосипед, а у другой двери стоял темно-коричневый столетний комод соседки Катришей Римки Везухиной. На нем вечно громоздились кастрюли, банки, стиральная доска и закопченный примус.

Я вступал на эту нейтральную полосу, четко выполнив указание на крохотной табличке возле кнопки звонка: «Катриш — два зв.» Однажды я ошибся и нажал на кнопку трижды, и тотчас пулей вылетела дородная Везухина. На ее пухлом лице вспыхнуло гневное удивление.

— Читать научись, овца, — гаркнула она и захлопнула перед моим носом дверь.

— Овца — это еще хорошо. У нее все шакалы или змеи, — не проникаясь моей обидой, пояснил потом Катриш. И вдруг предложил: — А ты ее тоже как-нибудь обзови и будете квиты.

— Разве можно? Она же взрослая, — оторопел я.

— Ну и что как взрослая? Римка бешеная, потому что старая дева. Ее не мешает проучить...

Пересекая порог Серезкиной квартиры, я всегда помнил о Римке Везухиной, о «конфликтной даме», как называл ее старший Катриш. И, тщательно вытирая о влажную мешковину выскобленные еще у подъезда ботинки, я каждый раз заново привыкал к запахам и вещам в коридоре, со страхом прислушиваясь к казарменному голосу Серезкиной соседки. Она опять распекала кого-то на общей кухне. И вдруг появлялась, как всегда гневно-стремительная, с блестящим от крема лицом и папильотками на голове. Я испуганно шептал «Здрасьте», а Везухина, шевельнув ответно губами, обмерив меня с головы до ног брезгливым взглядом, что-то хватала с комода и проносилась мимо, точно вихрь.

То ли дело — наш дом — барак. Квартиры имели свободный выход во двор, пожалуй, главное преимущество перед коммуналками. Так что споров по поводу мест общего пользования не возникало.

Да и не в этом дело. Можно ведь и в коммуналке жить душа в душу с соседями, если смотреть на мелочи быта не скандально, а с улыбкой и думать о том, что все хорошее впереди, что все хорошее ожидается со дня на день. Так, наверное, жили в нашем бараке — легко и с улыбкой. А уж если придет новая жизнь — то будьте спокойны, встретят у нас ее по-людски, не ослепнут и духом не ослабеют, как жили, так и будут жить друг у дружки на виду. Всегда, неизменно...

В теплые вечера, особенно весной, когда во дворе пахнет кизячным дымком, влажной овчиной, свежим тесом и старые звуки из кухонек и сарайчиков, обветшалых закут — исконно дворовые шумы — окрепнут, когда жизнь, сладко сдобренная этими извечными запахами и звуками, начинает свой очередной виток — все выходило во двор. Мужчины сражались в «козла» — тут, на століке под абрикосом, и говорили о международных делах. А дела были неважные. Американцы испытывали атомное оружие, строили военные базы и вообще показывали нам кулак. Об этом каждый день тревожно вещал репродуктор. И нашим мужчинам многое было не ясно. Ну, например, почему американский президент Эйзенхауэр, сменивший вражину Трумэна, оказался ничуть не лучше? Даже Лидкин отец, дядя Костя, который читал

больше всех газет и слыл во дворе «спецом» в политических вопросах, не в силах был объяснить соседям: как это, мол, так — бывший командир союзников в войне с фашистами взял и нам изменил?

И только инвалиду старику Сурина все казалось проще простого. Почти не участвуя в разговоре, он насмешливо следил за каждым и вдруг, выделив кого-нибудь взглядом, лупил из крупного калибра:

— Глупый ты, ей-богу. Да кто он тебе, Энзенхаер, сват или кум? Может, он с тобой под Касторной портянку грыз? Угадал мне вояку.

А женщины, сидя на порожках, грызли семечки и рассуждали о чем-нибудь домашнем. Бывало, мечтали — «богатели». Тут важен был повод. Например, кто-то в соседнем дворе справил себе коверкотовый костюм, который стоил «бешеных» денег, и ему тотчас приписывали крупный выигрыш по займу. Вспоминали еще две-три семьи, которым «повезло в облигациях». Счастливики жили рядом и были далеко не бедными людьми, но деньги, как известно, к деньгам липнут. Вот и выходило, что счастье топталось где-то рядом, такое слепое и глупое. Нет, не завидно было нашим женщинам, а обидно. Подумать только — на один номер не сошлась облигация!

Но женщины верили и потому с удовольствием раскладывали будущий выигрыш на многочисленные покупки, заранее обеспечив нам велосипеды, чтобы не приставали. Сладкое это толковище разбухало, как квашеное тесто, пока кто-нибудь из соседок, очнувшись, не восклицал:

— О чем мы, бабы? Загад ведь не бывает богат. Оттого у нас в кармане — вошь на аркане!

Словом, в таком вот доме по улице Красных Зорь жили я и Лидка Степанкова. Да, она мне нравилась. Конечно, не так, как Сережке девчонка из параллельного класса. Просто жила на свете Лидка Степанкова, мой славный товарищ.

Вот если бы по нашему проходному двору — мимо щелястых сараев и кухонек, мимо старика Сурина, замершего в раздумье у порога своей квартиры, шла бы Лолита Торрес, а не длинноногая девчонка в сером пальтишке и белом берете. Если бы Лид-

ка хоть чуточку походила на Лолиту Торрес, тогда б я запросто влюбился в нее. А то ведь мчится навстречу тебе девчонка, тонкая, стремительная, как гоночный велосипед. Обычная девчонка. Лицо в улыбке, почти восторге, а в черных глазах удивление и любопытство: «Как наши дела, Эдик?» Дела как дела. Что могло измениться в мире за несколько часов, в которые мы не виделись? «Порядок, Лидок». Но этого ей недостаточно. Она ждет. Она стоит напротив, накручивает на палец хвостик толстой черной косы и смотрит насмешливо, с превосходством, как опытный человек, как мама, и кажется, вот-вот я услышу знакомое: «Ох, и никудышный ты парень». Но она молчит, и я объясняю ей, коротко, как маме, что ничего особенного в моей жизни не произошло — слава богу, не схватил двойку и ни с кем не подрался. Я немножко нервничаю. Почему я должен перед ней отчитываться?!

Глава вторая

В самом деле Сережка не трепался, и в ближайшее воскресенье они-таки ездили на Лысую горку за тюльпанами. Сережка на своем «Орленке», а Жаркова с подругой — Ирочкой Проявкиной — на новеньких дамских велосипедах, с цветастыми сеточками на задних колесах. (Этими сеточками Катриш бесконечно восторгался.) На Лысой горке они ни черта тюльпанов не нашли, зверски устали, но это, конечно, пустяк. На Лысой горке, если, разумеется, Серега не врет, они с Жарковой целовались. Однако была и другая новость, которой чуть ли не с порога сразил меня мой друг:

— Лежишь, Эдька? Помирать собрался, а Ирочка Проявкина привет тебе шлет. Втрескалась в ваше величество. Факт.

Тут Сережка бесцеремонно смахнул с табуретки на пол учебник географии, сел. Лобастое его лицо сияло таким счастьем, как будто не в меня, а в него влюбилась Ирка Проявкина из параллельного 7-го «Б».

— Ты знаешь, как она испугалась, когда узнала, что ты тяжелый?! Привет, говорит, передай. Пусть, говорит, держится. И еще это... воздушный поцелуйчик тебе послала.

Врет ведь о поцелуйчике.

Вообще Ирочка красивая девчонка. Только, по-моему, Сережка темнит. Наверное, трепанулся Проявкиной, что Клименко при смерти, и та просто пожалела. В этом стоило еще разобраться, но разбираться сейчас я ни в чем не желал. Захотелось вдруг выскочить из постели и, забыв о хвори, полететь в школу. Только бы увидеть Ирочку Проявкину.

Он еще и еще рассказывал о поездке, всякий раз с новыми деталями и чудесами, и если и врал, все равно слушать его было интересно. И я не знаю, какую бы я еще историю услышал, если бы не пришла Лидка.

Она сказала:

— Здравствуйте, мальчики.

Я ответил: «Здравствуй», а Сережка встал, галантно поклонился и подал руку.

— Приветик, приветик, детка.

Лидка смутилась, но руку все-таки пожала. И если бы не это «детка», я бы зауважал Серегу, решив, что поездка на Лысую горку круто изменила его отношение к девчонкам. В разговоре с девчонками Катриш вел себя так, как будто ему все о них доподлинно известно и он только и занят тем, чтобы подцепить на крючок и уличить в какой-нибудь «нескладухе».

Лидка подошла к кровати, подняла учебник географии, положила его на тумбочку, затем поправила край простыни.

— Садись, садись, не суетись,— певуче протягивая слова, произнес Катриш. Его будто подменили: голова ушла в плечи, спина дугой, как у кота возле мышиной норы.

Лидка села на стул у шифоньера, смиренно положила руки на колени.

— Ну, жалуйся, как там у вас делишки,— то ли спросил, то ли распорядился Сережка, подмигнул мне и осклабился. Я догадался — это он об Ирке Проявкиной, о возникшей теперь между нами тайне. Но я сделал вид, что не понял.

— Лид, у вас сегодня шесть уроков? — поинтересовался я, чтобы как-то отвлечь Сережку — вдруг вздумает еще подмигивать.

— Нет, Эдик, пять. Это у нас сегодня встреча была с военным летчиком — Дмитрием Алексеевичем Бородиным.

— Ну и что вам этот Бородин рассказывал? Сколько фрицев укокошил? — спросил Сережка.

— Укокошил? — не поняла Лидка.— Он же летчик, майор в отставке.

— А что, в небе, кроме самолета Бородина, только вороны летали? «Мессеры», по-твоему, где были? — атаковал вдруг Лидку Катриш.— Он на чем летал; на «ишачках», на «лавочках» или на «этажерках»?

— На табуретках,— вмешался я.— Не развивайся, Серж.

— Бородин, Сережа, на больших самолетах летал, только я забыла названия,— благодарно взглянув на меня, ответила Лидка.— Вообще Дмитрий Алексеевич о себе рассказывал мало, больше о товарищах по экипажу. Это потом мальчишки обступили его, и он им что-то объяснял. Многие наши ребята мечтают о летном.

— А может, этот Бородин на транспортном летал? — отчего-то усомнился Сережка. Он почесал за ухом, поморщился и вдруг сорвался.— Ладно, с вами тут хорошо трепаться, а у меня дела. Лечись, мужик, ты еще очень бледный.

И Сережка пошел к двери.

Мы проводили его недоуменными взглядами — честное слово, от Сережкиных визитов остается какая-то неясность в душе. Лидка встала.

— А твой Катриш воображала. «Ишачки», «лавочки», подумаешь, умник. Тебе не кажется, что он ведет себя так, как отличник, который на контрольной первым решил вариант и придуривается до звонка.

— Угу. Только контрольные по математике Сережка у меня списывает.

— А я сегодня тройку схватила по алгебре, вот. У доски отвечала. Такой трудный достался пример, просто гибель...

И тут Лидкин голос погас — я вспомнил Ирочку, улыбнулся.

— Эдик, а чему ты ухмыляешься? — обеспокоенно спросила Лидка и положила ладонь на мой лоб. Ладонь у нее прохладная.— Ну вот, у тебя опять высокая температура.

«Если бы тебе, дуреха, сообщили такое, у тебя бы тоже подскочила температура», — подумал я и сказал:

— Лид, ты меня всегда в чем-то подозреваешь. Может же человек просто улыбаться?

— Может. Это вполне нормальный признак. Только я, Эдик, вижу, что тебе хочется что-то мне сказать. Ну выкладывай, выкладывай.

Почему девчонки такие любопытные? Поразительное чутье и совершенное отсутствие терпения. Конечно, я скажу. Разве я что-нибудь утаивал от Степанковой? И вообще, мне надо посоветоваться.

Я смотрел на нее снизу. Лидка какая-то вытянутая, словно в сферическом зеркале. Фартук у нее перекосялся, а на косе развязалась ленточка.

— Понимаешь, Лидок, тут в меня влюбилась девчонка. Может быть, знаешь Проявкину из 7-го «Б».

— Проявкина? — У Лидки заискрились глаза. — Это такая дылда?

— Сама ты дылда. Нормального роста, — рассердился я.

— Эдик, не трать зря энергию. Откуда известно, что она в тебя влюбилась?

— Сорока на хвосте принесла.

— Видела я эту сороку, — усмехнулась Лидка. — По-моему, она только что улетела.

Лидка села на край кровати и принялась накручивать хвостик косы. Это привычка у нее такая. Смотрит на тебя, молчит и кончик косы накручивает. На Лидку невозможно обижаться.

— Как ты думаешь, Лид, что она во мне нашла? У меня же нос вон какой длинный? — спросил я спокойно.

— Ты, Эдик, не глупый и не трус.

Я польщен. Ну да, в самом деле, я не глупый человек и не трус. Вот если бы только не мой длинный нос.

— Интересно, Лидок, в кого бы ты влюбилась? В красивого, умного или сильного? — спросил я и, приподнявшись, удобно устроился на подушках.

— Не знаю... Не думала. Слушай, чего ты ко мне прицепился?

«А правда, чего это я к ней привязался? — подумал я. Уж не затем ли я завел весь этот разговор, чтобы узнать Лидкино мнение о своей внешности и в первую очередь о носе?»

— По-моему, Лидок, красивые должны влюбляться в красивых. Все по-честному. Ты бы видела, какой у Ирки славный нос, не то что у меня — семерым рос, а мне достался,— проговорил я и от досады глубоко вздохнул.

— А тебе она нравится? — спросила Лидка и отчего-то покраснела.

«Конечно, нравится»,— подумал я, но ответить вот так прямо постеснялся.

— Я никогда не соглашусь, чтобы рядом с моим рубильником оказался такой носик,— гнул я свое.— Ужасные дела, Лидок... Понимаешь, нос...

Сейчас, сейчас она не выдержит и скажет: «Чего ты взялся ва свой нос? Чудак, нос как нос». Я, признаться, этого только и жду.

— Да, Эдик, это ужасно,— совершенно серьезно проворковала Лидка, не рискнув, впрочем, взглянуть мне в глаза.

Ну вот и дождался. Значит, это правда. Значит, я совсем никудышный с этим своим носом? В сердцах я возненавидел Лидку. Хотя в чем она, собственно, виновата? Она, что ли, выращивала мой нос?

...На следующий день она принесла мне книгу «Собор Парижской богородицы» Виктора Гюго.

* * *

Роман Виктора Гюго я прочитал за три дня. С такой скоростью я не прочитывал еще ни одной толстой книги. Я отложил книгу, но образы Эсмеральды, Клода Фролло, Квазимодо, Феба де Шатопера не покидали воображение, и думалось только о них.

Пришел Сережка, и я тотчас принялся горячо рассказывать ему о романе. Особенно о красавице Эсмеральде, о ее любви к Фебу. В этой любви мне не все было ясно. Почему Эсмеральда отдала свое сердце Фебу, а не доброму поэту Гренгуару? Феб

даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти ее от виселицы. «Напомаженный кривляка, позер со шпагой за поясом», — возмущался я. Но Сережка слушал плохо, отвлекался, глаза сонно мутнели. Он просто взбесил меня: носит на себе панцирь черепахи и вылезает из него только тогда, когда ему нужно.

Сережа взял в руки книгу, вяло полистал страницы и как всегда глубокомысленно сказал:

— Средние века. Черный коридор человечества. Джордано Бруно на костре поджарили. Факт. А то какая-то цыганка...

Ночью мне приснилась Эсмеральда. Она была похожа на Проявкину, такие же огромные карие, чуточку грустные глаза.

С Эсмеральдой мы целовались в физкабинете, в котором мальчишки и девчонки делали опыты. Они все понимали и не обращали на нас внимания. А у доски физик Савелий Ильч играл на скрипке и отчего-то печально улыбался. С его улыбкой и музыкой я проснулся.

Было очень тихо, как бывает только перед рассветом.

Дымчато-лиловый свет клубился в проеме окна: он осторожно сочился из ставенных щелей — должно быть, ночь сошла, но свет утра в хрупкости еще берег тени — и, трогая тюлевую занавеску, мягко преломляясь в сетчатых узорах то матово-голубым, то розовым, создавал иллюзию движения. Казалось, там и рождается музыка, полная непостижимого таинства и высокой грусти, музыка, которую я никогда прежде не слышал и которая только и приходит один раз в позднем детстве.

Я лежал не шелохнувшись, в сладком беспмятстве, боясь расплескать эту музыку, и мне чудилось, что я лечу высоко-высоко.

И вдруг близко перед собой я увидел красавицу Эсмеральду — то же лицо в ласковой улыбке, те же густые черные волосы. Да, она была в моей комнате, совсем рядом. Я даже ощущал ее теплое дыхание — совершенно неземное существо, мой единственный идеал! Как хотелось дотронуться до ее волос! И я, робея, дотрагивался, и видение исчезало, а вместе с ним уходила музыка. Я опускался, точно падал в жаркий, полный тупой немоты мир, и тотчас обрушивалась печаль, какая-то смертная тоска и тревога.

В ту ночь перед рассветом я серьезно подумал о себе. Просто Ирочка Проявкина не выходила из головы, и у меня один за другим возникали вопросы. Почему всем мальчишкам Ирочка предпочла меня? Чем я лучше других? Она же почти не знает меня. Если бы она хоть один раз услышала, как я разговариваю с нашими девчонками. Я же грублю им! Вот и курить начал. Правда, потихоньку, в рукав. Но ведь начал. И зарядку по утрам не делаю, и вообще спортом занимаюсь от случая к случаю. Только считаю себя сильным. А если разобраться — ничего особенного. Конечно, можно похвастаться Проявкиной отличной учебой. Но это совсем другое дело — нравится заниматься, вот и занимаюсь. Мальчишки, например, не очень-то доверяют отличникам.

И тогда я вспомнил: я — художник!

Я умею рисовать. Я просто здорово рисую! Может, Ирка видела мои картины на школьной выставке?! Разумеется, видела.

...В ту ночь я выработал программу жизни. Во-первых, бросить курить и серьезно заняться спортом. Боксом или футболом. Во-вторых, вести себя с девчонками, как положено мужчине — по-рыцарски. И, в-третьих, я решил стать великим художником.

Я не должен ничего откладывать...

* * *

Утром я вылез из постели в отличном настроении. Взмах одной рукой, взмах другой. Еще взмах и еще. Оказывается, не так легко делать зарядку, когда болен. С каждым движением руки тяжелели, будто в мои ладони вкладывали гантели с увеличивающимся весом. Я устал и взмок, в коленях появилась противная дрожь, но я проделывал упражнения с отчаянным упорством. Однако рывки становились вялыми, просто смехотворно слабыми. Я задыхался, но все-таки твердил себе: «Не сдамся, не сдамся». И вдруг комната поползла в сторону, потом нырнула вниз, как палуба корабля в шторм, и я едва успел ухватиться за спинку кровати.

...Я лежал в постели, и на душе было тревожно.

Я вспомнил Лидку, что же она не убежала сегодня утром до школы? И вдруг у меня возник вопрос: почему Лидка решила притащить мне книгу «Собор Парижской богородицы»? Лидка частенько меняет мои книжки в библиотеке и отлично знает, что я люблю читать о приключениях, особенно морских. Вполне могла бы поискать в библиотеке что-нибудь Стивенсона, Станюковича или Грина. Уж ей-то известно, что я очень люблю море и мечтаю жить в большом городе у моря.

Впрочем, вначале я не придавал этому вопросу значения — принесла и принесла, что тут такого? Но он не выходил из головы, и я принялся искать в Лидкиных действиях подвох. Она принесла «Собор» на следующий день после печального разговора о моем носе. Почему именно эту книгу? Кого она имела в ней в виду? Квазимодо? Четырехгранный нос этого циклопа?.. Хороши шуточки.

«Издеваться вздумала? Подсунула мне книжку про Квазимодо. Ничего, запомним, — распаялся я. — А если ей просто посоветовали в библиотеке книжку и сама она не читала? Нет, надо все как следует выяснить». И тут у меня возникла мысль, довольно забавная мысль, и я стал поджидать Лидку с нетерпением. Я просто измучился, пока дождался Степанкову.

— Как наши дела, Эдик? — вошла Лидка, задав привычный вопрос вместо приветствия.

Я промолчал.

Она остановилась в дверях, в форменном коричневом платье с белым воротничком, но без фартука. На груди коса. В руках газетный сверток. Она глядела на меня с недоумением — разве так уж плохи наши дела?

— Проходи, — буркнул я.

— А я тебе пирожков принесла. Мама напекла. Горяченькие, с картошкой, — произнесла Лидка, скользя к стулу у кровати. Она отодвинула пузырьки и развернула сверток. У нее быстрые сноровистые движения, как у лисицы. Пирожки вкусно пахли. — Вот, попробуй.

Лидка сунула мне под нос пирожок. «Лидка, ну почему ты не Эсмеральда?» — тоскливо подумал я, и мне немножко стало стыдно за то, что я намеревался предпринять.

Я дернул ее за руку и решительно сказал:

— Садись, поговорить надо.

У Лидки на лбу появилась складка, что, мол, с тобой, Эдик? Она села на краешек кровати у ног. Тронула кончик косы.

— Я тут, Лида, подумал. В общем я тебя люблю,— как-то бегло, будто о чем пустяковом, произнес я. Наверное, я должен волноваться, вздыхать, покусывать губы, наконец. А я был совершенно спокоен. Только голос мой оказался хриловат, как у нашего школьного завхоза дяди Феди. Он курил крепкий табак и испортил свой голос. И еще я впервые в жизни назвал ее Лидой. Обычно — Лидок или Лидка. Я не предполагал, что назову ее — Лида.

У Степанковой вспыхнули щеки, и у носа появились веснушки.

— Ну и что следует? — пролепетала она и вдруг серьезно взглянула мне в глаза. Я отчего-то страшно струсил и сразу раскаялся в том, что сказал. Ведь ничего такого особенного я к ней не чувствовал. Это была Лидка Степанкова — соседская девочка.

Я отвернулся.

— Не знаю, что из этого следует,— повторил я глухо и подумал: «Человек первый раз в жизни объясняется в любви, а ей «что следует».

— А как же Ирочка? — спросила Лидка, и мне почудилось, что она усмехается. Я осторожно поглядел на нее — ничего подобного. Лидка сложила руки на коленях, съежилась, как котенок.

— Ирочка? При чем тут Ирочка? Я тебя люблю. Значит, железно... — настырничал я, но слова мои летели в какую-то гулкую пустоту и, отталкиваясь там от чего-то, возвращались только словами, легкими и нарядными, как воздушные шарики. Это была придуманная мной игра, забава, и мне казалось, что Лидка тоже играет, только вот включилась чуть позже. И через миг другой она ответит мне теми же словами и тотчас рассмеется.

Но Лидка молчала.

— Мы еще маленькие,— наконец прошептала она.

— Ничего себе маленькие. У меня уже сто семьдесят пять.

— Нет, мы маленькие, Эдик.

— А я вот сейчас возьму и поцелую тебя,— выпалил я, и мне вдруг стало совестно, провалиться бы сквозь землю.

Лидка вскинула голову, замигала ресницами.

— Ну поцелуй, поцелуй. Попробуй,— сказала она кокетливо, однако на всякий случай отклонилась. «Конечно, она поняла, что это игра»,— подумал я, но отчего-то с сожалением.

Я приблизился к ней. Лидка приподняла руки в попытке отстранить меня. Глаза ее были близко — светились тревожным любопытством. Я все-таки дотянулся до щеки и осторожно, чуть-чуть прикоснулся губами. У меня вспотели ладони, и в горле от волнения запершило.

А Лидка, помедлив, отшатнулась, резко, словно от толчка. Протестуяще, совсем несчастно забормотала:

— Дураки, дураки... Какие мы дураки.

И принялась быстро накручивать кончик косы. Лицо ее было красным и, по-моему, некрасивым. И тут я вспомнил про свой нос, про этого Квазимодо.

— Ну да, конечно... Квазимодо... Подавай красавца,— понесло меня, и вдруг я насмешливо сказал: — Но и вам, сеньора, далеко до Эсмеральды.

От последних моих слов Лидка встрепенулась и, закрыв лицо руками, бросилась к двери, едва не сбив на пути маму.

— Что случилось? — строго спросила мама. — Вы поссорились?

— Поссорились, тебе что до этого? — ответил я грубо. На душе было гадко.

Конечно, Лидка читала «Собор Парижской богородицы». Только, наверное, не в книге этой дело. Просто не пойму, что со мной происходит.

Глава третья

Лидка перестала приходить ко мне. Обиделась. Зря я, конечно, ляпнул, что ей далеко до Эсмеральды. Но ведь она тоже съехидничала насчет моего носа. Выходит, мы квиты. Чего оби-

жаться-то? Сережка тоже отчего-то перестал приходить — я не знал школьных новостей. Как там поживает Ирочка Проявкина?

Пошли дожди, и весна расплывалась по стеклу, как бывает, когда на свежий холст опрокинут разбавитель. Весна осталась ощущением чисто календарным. Этого, правда, не мало — в любой час солнце все вернет, восстановит, но когда ты болен и тебя покинули друзья, становится очень одиноко.

А за окном дождь и дождь. Мостовая покрылась мелкими лужами. На улице безлюдно и серо, как поздней осенью.

У меня опять подскочила температура, и в очередной приход врач прописала новые лекарства, заметив, что если не наступит улучшение, то положит меня в больницу. Только этого не доставало. Но я не ныл. Я был уверен, что моя хворь пройдет, как ненастный день за окном.

Каждый полдень я ждал Лидку. Я жалел, что она не училась в нашей школе, потому что тогда ее путь лежал бы мимо моего окна. Я мог бы постучать по стеклу, окликнуть. Конечно, можно было и начихать на запрет врача выходить на воздух — выскочить во двор и — к Лидкиной квартире.

Но что-то меня удерживало. Всякий раз, вспоминая Лидку, я вдруг ни с того ни с сего начинал волноваться.

И я заполнял дни рисованием.

Окна нашей квартиры выходили на улицу Красных Зорь. То был капитанский мостик большого корабля. Я будто смотрел с него вдаль и видел море... И я писал воображаемое море маслом и акварелью. У меня было много картин о море, которые я написал в разное время. С моего капитанского мостика я представлял затерявшийся на горизонте челн и падающее в ультрамариновую гладь закатное солнце. И все это точь-в-точь ложилось на холст, только, например, солнечный закат, отражаясь от воды, становился сказочным фрегатом с золотыми парусами. Я не знаю, почему я так упорно рисовал море, это, по-моему, совершенно необъяснимо. Мама, например, твердо уверена, что любовь к морю от отца. В самом деле, отец мой служил на флоте. Но мне меньше всего хочется так думать. Как бы то ни было, но на моих картинах сонно покачивались у берегов рыбацкие

баркасы, волны жадно лизали утес с маяком, тяжелые крейсера цепочкой тянулись из бухты, вдалеке их ждал зашторенный грязно-фиолетовыми, грозowymi тучами горизонт. Картины висели на всех стенах: они обдавали меня своим солоноватым простором, и я мечтал. Хотелось написать необыкновенную картину о море.

Нет, тогда я еще не видел настоящего моря...

И сейчас я глядел с капитанского мостика и думал о море. А перед глазами был дождь, ползущий по мостовой грузовик, прохожий под зонтиком да курсирующий к продуктовому магазинчику, что на углу, старик Сурин. Он шел валко, видно, был под хмельком и ему не мешал дождь — старик расхристан, ломат, весел.

И в мой альбом ложилась улица Красных Зорь — косые струи дождя, старый ЗИСок, разбрызгивающий лужи, грязновато-серые домики напротив моего окна, обшарпанный продуктовый ларек с темным квадратом в центре. Я все-таки надеялся на то, что Лидка выскочит за чем-нибудь в магазинчик, — за хлебом например.

Отдельно я набрасывал портрет старика Сурина. Он получался моложе и привлекательнее. Я рисовал его сидящим на порожке своей квартиры, в полосатом флотском тельнике, с трубкой в руке. Трубку он только что отнял ото рта, и тоненькая струйка дыма лизнула щеку. Я знаю, Сурин никогда не курил трубку. А есть у него короткий, пластмассовый мундштук, в который он вставляет папиросу. Но я решил, что с трубкой у Сурина будет вид настоящего морского волка. Хотя я не уверен: видел ли старик хоть раз море? Тельняшку в позапрошлом году ему подарила моя мама.

Я хорошо помню тот майский выходной день, первый после праздников. Сурин отремонтировал нам ставни и навесил новую входную дверь. Я помогал ему. Мама, как и положено, сунула в карман соседу на пол-литра. Но Сурин деньги вернул.

— Не балуй, Анна. Неужто богатая, деньгами сорись. Вон лучше огольцу конфет купи. Поди, от батьки-то теперь помощи не густо?

— Не густо, — грустно согласилась мама. — Только не оби-

жайте нас, Яков Иванович, возьмите хоть на четвертинку. Полдня ведь возились.

— Да сколько уж там трудов. По-соседски. На четвертинку я зараз в другом месте заработаю,— укладывая инструмент в плотницкий деревянный ящик, отказывался Сурин.— Другое дело, если что от праздника осталось, ну, грамм какой заваялся. А нет, так и обойдусь. По-соседски.

— Точно, заваялся грамм,— обрадовалась вдруг мама,— господи, как же я забыла. Девчата ж у меня в гостях были, на праздник. По рюмочке выпили. Сейчас я на стол накрою, а вы умойтесь пока. Эдик, глянь, вода есть в умывальнике?

Сурин махнул рукой.

— Я после работы под этой свистулькой не люблю. Под колонку пойду.

Мама подала мне полотенце и мыло. Я пошел за стариком.

У колонки Сурин стащил через голову рубашку, и я увидел широкую, крепкую еще грудь с островком редкой сероватой поросли у горла. Он кинул мне рубашку на плечо — от нее шибануло потом и табаком.

Старик долго, тщательно намыливал дряблую кожу лица, морщинистую шею, взбивая пену туповатыми пальцами. Потом, изогнувшись, как-то очень ловко убрал из-под себя деревяшку протеза, нырнул под загогулину трубы, качнулся под толстой шипящей струей и, гортанно охнув, встряхнув раз, другой кудлатой головой, вынырнул. Погонял короткие, кургузые кисти по синеватому телу, цепко ощупал себя под мышками — очень серьезный, какой-то значительный, и вновь сунулся к воде. Так он проделывал несколько раз, и смотреть на него было смешно и печально.

Когда мы вошли в прихожую, на столе уже дымилась яичница — глазунья на большой сковороде, стояла тарелка с солеными огурцами, густо пересыпанными луком. Мать резала сало. Сурин сразу, по-хозяйски, прочно уселся за стол и, глянув на меня, сказал:

— Садись, заработал, поди, на харчи. Грамотей. Слышь, Анна, сынок твой говорит, ты, мол, дед ставень неровно притуливаешь. Мол, глаз у тебя набекрень. В аккурат не видишь...

— Не говорил я так. Вы сами все видели,— горячо перебил я старика.

— Видел, видел,— дружелюбно подмигнул мне Сурин.— А ставню ты прилаживал. В аккурат. Глаз у тебя чуткий. И ладошка широкая, мужичья.

Мама раскладывала на тарелке сало, улыбалась.

— Да он все может. Только не допросишься порой.

— Ма, я не буду есть,— сказал я. Мне не хотелось влезать в этот разговор, с детьми он всегда нелепый, неправдашный.— Я пойду делать уроки.

— Что же ты за работник такой, не проголодался,— попытался было задержать меня Сурин, а матери сказал: — Скромный парнишка. На Павла похож.

— Копия отца и ходит так, вразвалочку,— вздохнула мама и суховаато глянула на Сурина.

— Я тебе маленько налью, Анна,— засуетился старик.

В соседней комнате я сел за стол, достал учебники. Сурин и мама разговаривали громко. Сначала толковали о каких-то дворовых делах, а потом Сурин опять об отце моем вспомнил.

— Эх, дурень-то, Пашка. Такую женщину, как ты, Анна, на какую-то занозу сменял. И где у него только глаза,— проговорил он и часто закашлял.

— Да вы ж ее не видели, Яков Иванович. Она видная, молодая. Закусывайте, Яков Иванович, закусывайте.

— А мне ее видеть нужды нет. Я тебя вижу. И помню мои слова, поклоняется еще в ножки. Придет. Только ты его сразу не принимай. Пушай локоток покусает.

— Не будет этого, Яков Иванович. Мы с ним все по-хорошему обсудили,— возразила мама.— Да и что за жизнь-то у него была б со мной — без души? Ну ничего, привыкну. Вот уже полгода прошло. Хорошо, что хоть уехали они. А то Эдька места себе не находил.

— Ишь ты причина, молодуха. С лица, поди, воду не пить. Я пушай, Анна, человек чужой и мне исповедь держать не к чему, только не могу я в разум свой взять, как так, ни с того ни с сего... семью порушили. Не сошлись характером. Эко, не сошлись. Или ты что-то тайшь, Анна.

— Да ничего я не таю, Яков Иванович. Не любит он меня.

— А сын? Кровь-то родная. Как же это? Войну, поди, отгрел. Неужто она нас ничему не научила? Человека жалеть надо. А ты... не любая. Миловаться да тешиться один час, а семья — святое дело.

— Святое. Только тот, кто собрался уходить, о детях не думает. Больно их дети-то удержали?

— Эх, люди. Намусорят в жизни, а после на судьбину свою горькую жалуются. Пашка-то, тверезый мужик. Флот...

Я не выдержал, закрыл дверь в прихожую. Ничего я не хотел слышать о своем отце. А через несколько минут мать заглянула.

— Сынок, я папину тельняшку отдам Якову Ивановичу,— сказала она и полезла в шифоньер.— Когда она тебе еще впору будет.

— Как хочешь,— ответил я. Мне стало обидно: почему она отдает отцовскую тельняшку Сурину? Ни с того ни с сего отдает. В самом деле: тельняшка мне велика, но ведь я же расту. А она так вот, сразу — взяла и решила: «На, дорогой, Яков Иванович, носи». Обидно...

Я вошел следом за матерью в комнату. Сурин примерил тельняшку, и у меня вдруг стиснуло сердце. Я увидел отца.

А старик, скрипя деревянным протезом, крутился возле зеркала, оглядывая себя и чисто, как ребенок, улыбаясь.

— Ишь ты, моряк — с печки бряк. Ну, угодила, Анна, ей-богу, угодила,— ворковал он.— Да за такую обновку я теперь вечный должник. Зараз что хочешь починю... Благодарствуй, хозяйка.

— Нет, это вам спасибо, Яков Иванович. Мы, соседи, вам уже надоели: одному — то, другому — другое. Вам и дыхнуть-то некогда.

— Пустое говоришь, Анна, пустое, ей-богу.

Уходя, у дверей Сурин поклонился. Как по-шутовски у него вышло, хотя хмельной-то особенно и не был.

— Мир вашей хате, хозяйка. Не сердчай на соседа. А если что надо, милости прошу. Сурин завсегда готов,— сказал он и старательно улыбнулся, но губы у него задрожали, и в глубине не

очень крупных, навывкате, желтовато-серых глаз вдруг отчетливо увиделась мне давняя тоска. Она там словно тлела. Нет, мы совсем не улыбались, глядя на усмехающегося старика Сурина, покрасневшего от выпивки, лохматого. Молчали. Мама только что-то хотела сказать ему, может быть, что-нибудь ласковое, рот ее приоткрылся, да так и замер, придав лицу выражение какого-то растерянного любопытства.

Он пошарил рукой в поиске щеколды, встряхнув головой и, поворачиваясь к двери, сказал:

— Много, поди, страданий принял русский народ, а жалеть друг друга так и не научились. Дурень, Пашка, ей-богу. Не ценит свое счастье. Эхма... Думает, оно ему так досталось за здорово живешь.

Старик прикрыл за собой дверь, и стало тихо. Пошатываясь, прошел мимо окон, остановился, зачем-то потрогал ставень. Я спросил.

— Куда он?

— Кто знает, сынок. Может, на могилку сходит.— Мама смахнула слезу.— Что наше горе в сравнении с его...

С того дня Сурин начал разгуливать по двору в тельняшке. Мы с Лидкой прозвали его боцманом...

И вот сейчас, с портрета, Сурин улыбался мне не хмельной, а настоящей, свежей улыбкой. Наверное, так он улыбался в молодости, улыбался, не ведая о том, что впереди у него — война, которая отнимет жену и сына, а самого изувечит, превратит в инвалида...

Глава четвертая

Я здоров. Я встаю, нет, я срываюсь с постели!

За окном яркое солнце, и в комнате много света! Я делаю зарядку совершенно спокойно, хотя мне не терпится увидеть Лидку. Неужели можно так долго обижаться на больного человека? Но я делаю зарядку — прямо-таки вытачиваю каждое движение. Я, конечно, борюсь с собой. Мама улыбается — слава богу, все обошлось. Ее любимое чадо здоровехонько.

Я заметил — у меня прорезался бас. Я отвечаю матери резко, потому что я — мужчина. Мама вечно куда-то торопит. А куда торопиться — сегодня воскресенье!

Я выхожу на порог и оказываюсь в нашем славном дворе. Весна в нем уже не гостя, как на мартовских каникулах, а хозяйка. Прочно обжиты кухоньки — из труб валят сиреневые дымы. У соседей и у нас во дворе цветут абрикосы. Они всегда зацветают первыми, и дворы напоминают развороченные пуховые перины.

Я делаю несколько шагов. От солнца рябит в глазах. Голова чуть-чуть кружится. В кухоньках приглушенные голоса, лязг кастрюль, уютный запах жареного лука. У колонки соседка тетя Клава набирает в ведро воду. Она смотрит на крюк трубы изумленно, как на волшебный рог. У тети Клавы неряшливый вид: грязно-серая, залатанная на локтях фуфайка и галоши на босу ногу. Замусоленный вид у нее всегда, потому что у тети Клавы большая семья — «много едоков».

Я здороваюсь с ней и слышу в ответ:

— Отхворал, Эдюша. Ох, божечка, исхудал-то.

Я приметил — весной, когда лебяжий пух первого цвета возносит обыденное и надоевшее до высот очарования, в наших дворах открывается движение, привычно-знакомое, подчиненное извечному ладу и всякий раз по-своему новое. Оно наполняется каким-то особым смыслом, тайным нетерпением и еще чем-то сладостным. И не поймешь, не разберешь, что же есть временное — то, как ты жил до этой поры, или то, как живешь сейчас?

И вот я стою у дверей квартиры № 7. Здесь живет Лидка Степанкова. Неужели она живет за этой коричневой дверью, на которой скучный фанерный почтовый ящик? Стою на пороге и не решаюсь прикоснуться к ручке, искусно выточенной из бронзы Лидкиным отцом, токарем. В центре круга высверлены инициалы «К. С.» — то есть Константин Степанков. Лидкин отец — отличный токарь. Я волнуюсь и чувствую себя человеком, покинувшим этот дом много лет назад. Отсюда меня проводили в кругосветное плавание и долго ждали, но я пропал без вести. Прошли годы, и теперь за этой дверью обо мне уже забыли. А я

вот остался жив и, выдержав множество испытаний, все-таки вернулся, как Робинзон Крузо или граф Монте-Кристо.

Я счастлив!

Я рывком тяну на себя бронзовую ручку: звякая, соскальзывает дверной крючок, и я слышу из глубины квартиры музыку. Очень быстрый фокстрот. Музыка резко усиливается, наверное, там повернули регулятор громкости до отказа. Нынешней зимой дядя Костя «отхватил» себе радиолу «Урал». Я помогал ему устанавливать «Урал». Я ни черта не смыслю в радиотехнике, но изображал на своем лице такие познания в этом деле, что Лидкин отец определенно решил — перед ним потомок великого Попова. И еще мы полдня сооружали антенну. Не какую-нибудь там жалкую, из обрезков медной проволоки, метелочку, а великолепную антенну на двух высоких трубчатых стойках, с растяжками из тонкого стального троса, после чего наш дом в снежной белизне двора стал похож на дизель-электроход, рассекающий льды в далекой Арктике.

Радиоле определили место на тумбочке в углу прихожей, рядом с плюшевым диваном.

Я догадываюсь — Лидка крутит пластинки. Влетаю в маленький коридорчик и, кажется, готов крикнуть: «Лидка, куда ты пропала?!» Но в овальном зеркале, что напротив входа в прихожую, я вдруг вижу...

Она танцевала, двигаясь на крохотном пяточке комнаты, легко и просторно.

Она была в сером гимнастическом купальнике, тысячу раз я видел в нем Лидку на тренировках в спортзале — ничего особенного. Просто комната была до краев наполнена голубым утренним светом, и искрящийся солнечный поток только усиливал эту удивительную голубизну, которая свежей акварелью ложилась на Лидкины шелковистые волосы, очень густые и длинные, почти до пояса, на серый купальник, на ярко-белые руки, выплетавшие сейчас невидимую сеть, создавая какое-то странное, непостижимое сочетание красок. Казалось, что и привычные старые вещи — тумбочка в углу под кружевной белой накидкой, круглый венский стульчик, часть стола с коричневой спутанной бахро-

мой — источали небесный этот свет — ликующий, легкий, прозрачный.

Я стоял не шелохнувшись, намертво остановленный мигом изумления, и танцующая девчонка там, в зеркале, чудилась мне совершенно незнакомой. Может быть, потому, что она была взрослее той будничной Лидки, и еще, может быть, потому, что гораздо красивее. Голова ее запрокинута, профиль лица торжествен, фигура как-то стремительно вытянута и радостно напряжена. И глядя на нее, я испытывал восторг, неистовый восторг на грани взрыва — вот-вот не выдержу, заору: «Молодец, Лидок! Бис! Ура!» И буду еще что-то кричать на весь наш жалкий барак, господи, у Лидки талант! Честное слово — талант! Но тут Степанкова на каком-то ей известном аккорде, взмахнув одной кистью, точно ударив ею по струнам арфы, оборачивалась, и я с ужасом ловил ее чужой, отсутствующий взгляд, и что-то гасло во мне, и становилось и совестно, и грустно.

Но вот музыка обрывается, и следом змеино шипит сползающая игла, а она все еще делает движения, как бы по инерции, но уже вяло, и какая-то сила выталкивает меня вон из Лидкиной квартиры.

Я вылетаю во двор, затем мчусь по улице к продуктовому ларьку, возвращаюсь и опять куда-то бегу. Я боюсь идти домой, боюсь отчего-то встретаться с Лидкой...

* * *

Я прихожу к Сереге. Нажимаю на кнопку «Катриш — два зв.», но дверь мне открывает Везухина. «Уехал куда-то с отцом», — рывкает она и исчезает. А я ловлю себя на том, что ничуть не огорчен, что не застал Серегу дома.

Я брожу по центру нашего великолепного города. Я дохожу до площади и топчусь возле фонтанов. Фонтаны не работают, их включают под Первомай. А пока — это грязные, потрескавшиеся корыта, в которых полно мусора: окурков, смятых папиросных пачек, стаканчиков из-под мороженого. Затем иду по главной

улице, останавливаюсь возле каждого магазина и рассматриваю витрины с невероятным любопытством.

Но весь я там — в квартире № 7...

А день разгорается, и теплеет час от часу. На улицах людно. Теперь уж точно — у весны обратной дороги нет. И многие уже и одеты по-весеннему, налегке. Парни щеголяют в костюмах. И чудится мне, что все улыбаются. Всем, должно быть, хорошо живется в нашем городе!

Все-таки жарко в демисезонном пальто. Мама не пустила меня в пиджаке, боится рецидива болезни. Я расстегиваю пальто и верхнюю пуговицу рубашки, дышу, наконец, глубоко, вольно и думаю, думаю. О разном. О своем будущем, например. Осенью мне исполнится пятнадцать лет. Скоро я закончу семилетку и вполне могу поступить в наш горный техникум — на ПРУМ. Я знаю нескольких мальчишек из горного техникума, они любят говорить, что учатся на ПРУМе. А ПРУМ — это подземная разработка угольных месторождений. Ох, как они гордятся тем, что получают специальность горного мастера! Или вот возьму и устроюсь учеником токаря на завод, где ремонтируют рудничную технику, — прямиком в механический цех к дяде Косте, и пойду в вечернюю школу! А что, буду зарабатывать деньги, как взрослый самостоятельный человек, и помогать маме. С первой получки я куплю маме красивые туфли, а со второй — себе карманные часы. Хорошо бы... Но я отлично знаю, что я этого не сделаю, буду учиться дальше. Конечно, маме трудно, но она и слушать не захочет о какой-то вечерней школе. Она ведь мечтает, чтобы я выучился на инженера. Вообще инженер — это здорово. Но у меня другая цель — стать художником. Нет, я все-таки продолжу учебу в школе, а когда закончу, поступлю в художественный институт. Зачем мне техникум? Я должен писать картины. Однажды я создам такую картину, которая прославит меня на весь мир. «Разве вы не знаете, кто написал эту картину? Это же Эдуард Клименко! Он жил на улице Красных Зорь», — будут говорить в нашем городе.

Потом я думаю о Лидке. И мне грустно...

В полдень я прихожу домой. Молча уничтожаю обед. Мама прикладывает к моему лбу ладонь, а я комментирую:

— Тридцать шесть и шесть. Пульс четкий, семьдесят два удара в минуту. Будет жить.

Мама, легонько потрепав волосы, успокаивается.

Я сажусь работать. Я делаю зарисовки в альбом увиденного утром и опять испытываю то же утреннее чувство. Я рисую танцующую девушку — не Лидку Степанкову, а просто девушку. Я художник и не имею, наверное, права проходить мимо того, что взволновало.

Однако ничего не получается. Какая-то толстая тетка размахивает руками. Оказывается, не так просто передать на рисунке танец. Я совершенно измучился, а танца нет и нет, а даже радиолу нарисовал и штрихами обозначил вылетающую из нее музыку — рассердился и расхохотался. Что это еще за идиотские штрихи?! Они возможны только на карикатурах.

Я выдираю листки из альбома, мну и рву в мелкие клочки. Падаю лицом вниз на диван и долго лежу, прислушиваясь к гулким ударам сердца. И в каждом стуке его мне слышится: «Не станешь художником», «Не станешь художником», «Никогда, никогда!» Я вскакиваю и мечусь по комнате как ненормальный. Пол усеян обрывками, я топчу их и едва не плачу от отчаяния. Потом собираю клочки, измятые листки, прячу в карманы, еще не хватало, чтобы они попались на глаза маме.

...Вечером приходит Лидка. Явилась как ни в чем не бывало. Она в привычном своем клетчатом платье выше колен. Только на круглых коленях уже не собираются в гармошку коричневые чулки. На ее плечах шерстяная кофта — вечером все-таки еще прохладно. Мы, наверное, пойдем гулять. Лидка улыбается — те же глаза, те же брови, — складка на лбу. Ничего, кажется, не изменилось, только я волнуюсь.

Мы разговариваем. Больше говорит она, а я так, односложно, и стараюсь поменьше смотреть на нее, потому что на моем лице идиотская улыбочка, которая неподвластна мне. Я узнаю, что Лидка была на областных соревнованиях и заняла там третье место, а за вольные упражнения ей поставили высший балл. Она приехала вчера вечером. Она рассказывает, как проходили соревнования, но мне в первый раз неинтересно. Наши глаза встречаются, и я чувствую, что краснею.

Потом мы выходим на улицу и гуляем возле дома. На нас никто не обращает внимания. К нам привыкли. Соседи нас «поженили» еще в детском садике.

— Ты долго не приходила, подумал, обиделась,— как бы между прочим говорю я.

— Нисколько. Ты же шутил,— отвечает Лидка, только очень тихо. А мне немножко обидно от того, что она совершенно не обиделась.

— Лид, как ты думаешь, что должен делать человек, который влюбится? — спрашиваю я и сразу сожалею, что задал этот вопрос. Сейчас она подумает о Проявкиной, о том нашем разговоре. Но мне, честное слово, не хочется вспоминать сейчас о Проявкиной. Но Лидка будто не слышит моего вопроса, говорит:

— Гляди, Эдик, бабушка Петрушина уже козу выгнала.

Коза бабки Петрушиной привязана к стволу акации. Коза мирно щиплет молоденькую травку, как бы утверждая собой вечное земное постоянство. Тут мы останавливаемся и долго и счастливо разглядываем козу бабки Петрушиной. А Лидка отчего-то заявляет:

— Однажды козы этой не станет.

— Конечно, ее съедят серые волки...

— Я не о том, Эдик, не смейся,— Лидка окидывает меня грустным взглядом, и я вижу ее утреннюю и обнаруживаю вдруг, что Степанкова взрослее, старше меня. О чем она? Я ее совсем не понимаю.

Первые апрельские сумерки лилово-синими дымами уже легли во дворы и теперь стелются по улице мягкие и прозрачные. Пестрые ставенки мазанок и флигелей теряют цвет, будто их легонько припорашивают серебром.

Мы еще немножко гуляем и идем домой. Во дворе, прощаясь, Лидка говорит:

— Между прочим, великий итальянский поэт Данте писал стихи и посвящал их Беатриче. А ты спрашиваешь, что делать...

Ночью я не могу уснуть. Перед глазами танцующая девушка, голубой свет... И тут неожиданно передо мной встает ночное море. Вырвавшаяся из плена облаков ярко-желтая луна золотит

зыбь слабых волн на горизонте. И там же, вдалеке, одиноко купающаяся девушка. Руки ее вздернуты к небу, и кажется, что они касаются диска луны. Голова с распущенными серебристыми волосами чуть запрокинута, корпус наклонен влево. И море чудится роскошным платьем кружащейся балерины, а луна — золотым бубном в ее руках.

Я решил писать эту картину. Конечно, маслом. Именно о такой картине я и мечтал.

Утром, до школы, я подстерегаю Лидку и рассказываю ей о замысле.

— Только ты об этом никому, ладно, — прошу я.

— Конечно, Эдик. Это будет только наша тайна, — соглашается Лидка и, помолчав, восклицает: — Счастливый!

В тот день я натянул холст на самый большой подрамник. Я назвал будущую картину «Ночная купальщица».

Глава пятая

В пятнадцать лет очень хорошо жить на свете, если ты уверен, что тебя ждет великолепное будущее. Я же был совершенно уверен, что моя взрослая жизнь будет необыкновенной, потому что я — художник и однажды напишу картину, которая обязательно прославит меня на весь мир. Я свысока посматривал на пожилых мужчин и женщин в нашем дворе, как мне казалось, ничего и не достигших в жизни. Я усмехался их пустой суете, мелочности чувств и желаний. О них никогда уже не напишут в газетах и не расскажут по радио. Да и кто вообще знает их имена? Десяток людей моего двора да какой-нибудь уполномоченный из жилкомхоза, перелистывая замусоленную домовую книгу, ухмыльнется, разобрав каракули — хороша фамилия: Бая. Даже с дядей Костей, который не так давно был для меня кумиром, я стал разговаривать торопливо. Нет, мое отношение к дяде Косте совсем не изменилось. Разве можно изменить отношение к человеку, который тебя понимает? И все-таки я стал разговаривать с дядей Костей как бы походя, на бегу. Я вдруг сильно заторопился — странным неподвижным образом побежа-

до время. Я не успевал. А может быть, детство и заканчивается тогда, когда начинаешь испытывать недостаток времени?

Я писал картину «Ночная купальщица». Я был нетерпелив, как все, кто ожидает чуда, и многое себе воображал. Иногда, впрочем, с ужасом ловя себя на мысли, что эта картина вовсе не прославит меня. А значит, останусь навсегда в нашем низко-рослом шахтерском городке, заточу себя в длинном бараке на улице Красных Зорь и буду мелькать в проходном дворе, как старик Сурин или вечно унылая тетя Клава из крайней квартиры во все времена в галошах на босу ногу и драной фу-файке.

Рисовать я начал рано. В первых классах я заполнял десятки тетрадей и альбомов рисунками разных сражений на море и суше. Торчали из кипящей морской пучины хищные носы поверженных фашистских кораблей. Оранжевый, сочный огонь пожирал изуродованные оружейные лафеты, в густом, жирном дыму вязли фюзеляжи уткнувшихся в землю вражеских самолетов с черными крестами на боках. Впрочем, тогда все усердно рисовали битвы с гитлеровцами, на бумаге обстреливая фашизм из мощных гаубиц детской фантазии, не жалея черных и серых — грязных тонов для него. Но и в то время я, кажется, с удовольствием окрашивал бумагу в синий цвет, отправляя в плавание трехмачтовые парусные фрегаты и высокобортные каравеллы.

А в пятом классе пришел к нам учителем рисования Борис Ефимович Сальников — высокий, плоский, нескладный человек с маленькой головой, покрытой тонкими и мягкими, как нитки «мулине», волосами. На нем была широкая из плотной ткани клетчатая рубаша, в которой, вероятно, запаришься — за окном солнечно, первые осенние дни у нас еще по-летнему знойные, но странное ощущение какой-то его внутренней зябкости, какой-то беспомощности тотчас передавалось мне.

Поздоровавшись сразу у входа, он шагнул к столу, положил журнал, двумя руками грузно оперся о спинку стула, глянул в класс. Он смотрел на нас довольно долго — голова его с бледным лицом едва заметно покачивалась между острых припод-

нятых плеч. Лоб собрался в гармошку, серовато-синие глаза будто что-то высматривали вдалеке, однако трудно, с усилием.

Этот Сальников показался нам рассерженно-строгим: от его взгляда погасли разговоры, обычно вольные на уроках рисования, затих шелест альбомов, двойных листков, drobный перестук карандашей.

И вдруг он улыбнулся. Совсем по-ребячьи, озорно улыбнулся. И точно хрустнул возникший было между нами тонкий ледок — мальчишки и девчонки глубоко вздохнули, живо сдвинулись с мест и вновь замерли уже в нетерпеливом ожидании его слов и действий.

— Вот что, хлопчики, покажите-ка ваши рисунки. Старые, у кого есть, — проговорил он сухим баском, по-домашнему просто и сразу пошел в глубь класса.

Работ оказалось мало. Никто ведь не думал, что учителю понадобятся прошлогодние рисунки. Но я принес альбом, который мне подарили родители вместе с набором цветных карандашей по окончании четвертого класса. В нем было много летних рисунков, но оставались еще чистые листы хорошей гладкой бумаги, вот я его и принес.

Я открыл на первой странице, где танки с боем форсировали переправу, решив, что это мой лучший рисунок. Вскоре учитель подошел ко мне, взял с парты альбом.

Первые страницы он перелистал с улыбкой на лице, а потом неожиданно помрачнел. Спросил:

— Тебя как зовут?

Я вскочил как ошалелый.

— Клименко моя фамилия, Эдуард...

В классе дружно хохотнули: подумаешь — Эдуард.

— Да ты садись, садись, Эдуард, — сказал Борис Ефимович, выделив все-таки имя.

Мальчишки поняли его и опять завизжали.

— Тише, хлопцы, — восстановил порядок учитель. Он перевернул еще один лист, подумал и заглянул отчего-то на первую страницу. — Вижу, рисовать ты любишь. Все так старательно выполнено, с фантазией. Только кругом война — бои и бои. А войну ты, братец, не видел.

— Не видел,— кисло согласился я.

— Хорошего в ней мало, в войне-то.— Учитель обвел взглядом присмиривший класс.— Да, существует такой жанр — батальная живопись. Верещагин, например, Греков. Но всякий художник-баталист изображает не войну вообще, как страшный, печальный факт, а человека в суровых условиях. Способен ли тот на подвиг, на благородный поступок или он трус, жалкая мокрица? Вот тебе, Эдик, встречались репродукции художника Грекова?

— Это... «Тачанка»,— к счастью, вспомнил я.

— Верно, знаменитая «Тачанка». Мчится по степи четверка лихих коней, увлекая за собой красных бойцов. Бег ее неистов, стремителен, красив. Азарт борьбы, смелость, революционная романтика — все это в порыве, в скорости. И мы верим художнику — такая тачанка сметет врага. Красные конники победят! — Борис Ефимович опять посмотрел на первую страницу альбома.— Правильно ты решил, написав кровь врага черным цветом. Пусть будет черной. Но вот торчит из-под гусеницы сапог, а рядом немецкая каска. Ты удовлетворен — это все, что осталось от врага. А я вижу только чудовищно раздавленную жизнь.— Учитель подал альбом.— Художник не может писать картины, движимый одной лишь ненавистью. Пойми, мальчик, настоящее искусство рождается светлым чувством.

Последние слова он произнес жестко, но тотчас будто повинно улыбнулся.

— А море у тебя получается. Что-то в нем есть, Эдуард Клименко.

Он похлопал меня по плечу и взял следующий протянутый ему альбом.

В тот же месяц я записался в школьный изокружок, который вел Ефимыч,— так уважительно звали его между собой ребята.

С тех пор в нашей квартире прочно запахло красками, и сразу исчез порядок. Мой письменный стол бы постоянно завален разными баночками, тюбиками, кистями, альбомами для эскизов, карандашами. Из-за беспорядка я частенько ссорился с мамой. Нервничая, она почему-то обвиняла в бюрократизме коммунхозов-

ское начальство — который год в нашем доме обещали залатать крышу и отремонтировать полы. Может быть, мама думала, что не так уж плохо, если ее сын станет знаменитым художником?

В конце зимы я написал первую картину маслом. То был морской пейзаж с маяком. А закончил ее поздним субботним вечером, и ночь спал тревожно. Мне снилось море. Я одиноко ходил по берегу у самой воды, и тяжелые пенистые волны, поднимаясь, страшно зависали надо мной.

Я проснулся. Сильными, гулкими толчками отдавалось в груди сердце. Я вспомнил о картине, и чувство необыкновенной радости отхватило меня.

Да, я написал настоящую картину маслом, как взрослый художник, и могу взглянуть на нее в любую минуту. Вообще — все могут смотреть на нее сколько угодно. Что стоит встать сейчас и пойти к картине?!

Но я не торопился, сладко отодвигая миг встречи с ней.

Наступило утро, и мама открыла ставни, но воздух за окном был еще розовато-синий, рыхлый, еще хранил позднюю ночную мглу. Лязгая, протарахтела по мостовой телега.

Мама шуровала печку, выбирая из поддувала золу, сыпала в ведро. Крепкий, зольный дух щекотал ноздри.

Я не любил эти утренние минуты, когда прогорит печь. В углах начинали шевелиться знобкие сквозняки, и в квартире от нервного какого-то неужога становилось вдруг суетно и мучительно бедно. А мама, колдующая над печкой, в заношенном домашнем платье, в стоптанных чуваках с подошвою из взломаченной транспортерной ленты, в сером из козьего пуха полупальце, повязанном крест-накрест на груди и неряшливо подтянувшим подол, — казалась убогой старушкой. И от возникшей странной обиды хотелось сказать ей какую-нибудь дерзость, нагрубить. И потом, когда в квартире возликует прежнее постоянство, вещи обретут привычную суть — будут незаметны, не главные, а мама вернется молодой, как всегда, я страшно сожалел об этом своем миге, но все сразу забывалось. Наверное, до следующего такого утра.

Однако сейчас я смотрел на маму восторженно. «Ничего-то ты, мамочка, не знаешь», — кричала моя душа. И плевать мне

было на нашу бедность, на сквозняки, на мамины чувяки с по-дошвою из транспортерной ленты.

Я написал картину!..

После завтрака, за которым мы с мамой говорили о моем пейзаже,— она восторгалась, а я, конечно, воображал, так, мол, пустяк, я стал собираться к Ефимычу. Я решил показать холст учителю. Нашел старенький отцовский чемоданчик — картина удачно легла в него — холст-то свежий, оделся. Но тут мама затеяла стирку, пришлось натаскать ей воды. Потом в сарайчике молотом раскрошить гиревой уголь, с запасом, нарубить на растопку дров, да еще сходить в магазин за продуктами. Я нервничал. Мама знала, что я собрался к Ефимычу, могла бы и сократить свои поручения.

Наконец я освободился. Но прежде чем пойти к учителю, заскочил к Сережке. Как-то неловко было заявиться к Ефимычу одному, и я попросил Катриша пройтись вместе.

Я показал Сережке картину. Он потрогал край полотна и выпачкал палец. Спросил:

— Краска отмоеется?

— Отмоеется, не бойся,— огорчился я.

У Сережки в воскресенье оказалось много самых неотложных дел. Он уже успел сходить на утренний сеанс в кино, теперь ему надо было за чем-то в Дом пионеров, а после — к бабуле на пирог. Так что топать к Ефимычу на окраину города он не желал. Сережка считал, что лучше показать картину учителю завтра в школе. Разве Катришу понять, что значит написать картину?! Сережа согласился лишь тогда, когда я пообещал поменять свой фонарик «Даймон» на его перочинный, с одним лезвием, нож, который мне вовсе не нравился. Это был неравноценный обмен и Катриш понимал, а предложил, полагая, что деваться Клименко некуда.

У Ефимыча я однажды бывал. Меня посылал к нему наш директор со срочной депешей. Учитель жил в поселке шахты имени Фрунзе, далеко от школы, в крохотной двухэтажке. Окна его квартиры сразу вырастали из земли.

Добирались мы долго. Стояли последние дни февраля, и ничего еще не было ясно — с утра звонкое, почти весеннее солнце,

а к полудню вдруг помутнеют сосульки под крышами, и из дворов потянет стылой сыростью, хворым каким-то неуютом. Небо заволокут тучи...

Серejка хандрил, жаловался на хлесткий ветер, бросавший будто бы только ему в лицо колкую снежную крупу. По-моему, он не очень озяб в хорошем бобриковом пальто, в шапке-ушанке, в валеночках с галошами. Представляю, как бы он взвыл от стужи в моем потертом суконном пальто, из которого я быстро вырастал.

Двери нам открыл Борис Ефимыч. Он ничуть не удивился, словно ждал прихода своих учеников.

— Здравствуйте, хлопцы. Пожалуйста, проходите,— пригласил он, распахивая дверь.

Мы поздоровались и замешкались. Смutila музыка из глубины квартиры, может, у Ефимыча гости и мы некстати?

— Да заходите, заходите. Выхолодили совсем,— легонько подталкивал нас учитель и объяснил, рассеяв наше недоверие: — Это дочь моя Машенька под патефон засыпает. Она у нас принцесса, подавай только «Брызги шампанского».

В тесном коридорчике он помог нам раздеться и провел в комнату со старым вылинявшим шифоньером, с широким дубовым столом и печью. Посадил нас к столу и сказал:

— Погрейтесь. А я сейчас. Машенька вот-вот заснет.

Серejка снял очки, принялся протирать их рукавом вельветовой куртки. Он кряхтел и надувал щеки.

Музыка смолкла, и в дверях сразу появился Ефимыч.

— Уснула. Поставь ей «пластиночку». — Он пододвинул табуретку и сел к нам за стол, положив на него жилистые руки. Вид у него был осунувшийся, под глазами мешки. Коричневый, плотно облегающий свитер жутко подчеркивал его худобу.

— Жена с сыновьями уехала к матери в село, а я с дочуркой на хозяйстве,— проговорил он и глухо, тяжело кашлянул.— Ну, а вас, хлопцы, какими ко мне ветрами?

— Клименко картину нарисовал, сильную,— сказал, будто рапорт отдал, Серejка и набросился на меня.— Да ты покажь, покажь, Эдька. Открывай чемодан.

— Чемодан там, возле вешалки,— ответил я и не шелох-

нулся. Честное слово, я уже сожалел, что решил показать картину. Вдруг она никуда не годится.

— Не робей, Эдуард,— улыбнулся учитель. Конечно, он понимал мое волнение.— Давай посмотрим на твой труд.

Я принес чемоданчик и достал картину. У меня задрожала жилка на виске.

— Краска еще липкая. Я вчера только закончил,— еле-еле вымолвил я.

Учитель внимательно осмотрел картину.

— Ну что же, Эдуард, похвально,— ободрил он, осторожно взял рамочку и шагнул к двери.— Пойдем-ка со мной, хлопцы.

Мы вошли в комнатку с плотным, устоявшимся запахом красок и разбавителей, как в художественной мастерской. Впрочем, это и была мастерская Ефимыча. Краски лежали всюду: на стеллажах, на книжном шкафу, на столе и даже на подоконнике рядом с горшочком герани, в пустых баночках, в бутылках, в тюбиках, в плоских коробках наборов. Вообще здесь было много заманчивого для меня. Например, те холсты, что сложены у стены один к другому, или альбомы на стеллажах.

— Вы тут рисуете картины? — любопытствовал Сережка. Чудак, как будто не ясно, что тут пишут картины.

— В некотором роде,— ответил учитель. Он закрепил холст на мольберт, покопался в коробке, нашел нужный тюбик, выдал из него краску на стекло и сказал мне:

— Бери кисть. Сюда вот маленько кобальта добавим.

Я едва дотронулся тонким, как игла, усиком до холста — пальцы дрожали. Тогда учитель отобрал у меня кисть, острыми, ловкими движениями нанес несколько мазков. На картине волна мощно ударилась об утес.

Он держал кисть в вытянутой руке прочно и легко. Я залюбовался — он будто слился с нею. Еще колдовское движение жальцем усика, и вот уже из утеса высечена водяная искорка...

И вдруг лицо учителя исказила брезгливая гримаса. Он жадно хватанул воздух, глубоко, судорожно закашлялся, прикрывая ладонью рот, напрягаясь до тугих синих жил на глянцевино-желтом, покрытом испариной лбу. Приступ кашля был мучителен, но вряд ли тяготил его только страданием в тот момент,

скорее чувством стыда за свою болезнь, о которой, конечно, мы догадывались. И стыд этот против его воли легко угадывался в бодренько-ложной, как бы извиняющейся улыбке на лице.

Он выронил кисть и выскочил из комнаты. И долго еще кашлял в коридорчике, удушливо захлебываясь и отрывисто охая.

Мы с Сережкой глуповато переглядывались. Сережка стоял у окна и вертел в пальцах тюбик краски.

— Сыро тут,— сказал он почти шепотом.

И кажется, после его слов я ощутил, как силен и сочен был здесь сырой подвальный дух. Сережка еще что-то хотел сказать мне, но вошел Ефимыч, утирая платком лицо, и Катриш, положив тюбик на подоконник, опустил руки розно по швам, замер, как наказанный ученик.

— Вы сильно простыли,— тихо проговорил он, и в эту минуту я был очень благодарен ему, потому что возникла нехорошая пауза — учитель совсем растерялся, а я не знал, куда деть себя от неловкости.

— Простыл, Сережа.— Учитель поднял кисть, задумался над моей картиной.— Простыл так простыл.

— Сейчас погода плохая,— прибавил еще я, отчего-то теряя интерес к своей картине.

— Какой же ей быть в конце февраля? Зимушка-то, считай, прошла. Погода по времени. Только она тут постолько... Простыл я, хлопцы, давно. Еще в сорок четвертом в Белоруссии на гнилых болотах. С тех пор и похварываю.

— А что вы там делали, на гнилых болотах? — не понял Сережка.

— На войне воюют. Я ведь, хлопцы, в разведке служил. Бывало, уйдем на задание на двое, на трое суток. В гости к фашистам. Сухие тропки на карте не указаны. Да и кто их искать будет. Ну, а водный рубеж, как и полагается, где вброд, где вплавь. Так вот и застудился.

— В разведке, наверное, интересно,— предположил Сережка.

— По-разному,— уклонился от разговора учитель.

— Вам здесь нельзя жить. Здесь сыро. Вам бы, Борис Ефимович, переехать,— посоветовал я.

— Переехать бы не грех. Конечно, сыровато. Все-таки три

метра ниже уровня мирового океана, — невесело пошутил учитель. — А что поделаешь? Вон в центре города почти все разрушенные дома восстановили. Скоро, значит, новые начнут строить. С балконами... Так что подождем, Эдуард. Да и не все так страшно, хлопцы. Скоро весна, а весной у нас хорошо. Сады цветут. Роща рядом — десять минут пешком. Воздух — чудо! Соловушки поют, одно удовольствие на этудох.

— А мой бы папа тут не стал жить. Он бы добился. Папка тоже воевал и раненый. Он даже на вторую комнату договорился с начальством. Наша соседка Везухина собиралась на целину, и нам обещали ее комнату отдать. Нас трое в комнате, а она одна, как царица. Факт. Только Римка никуда не уехала. Там же на целине настоящий фронт! А ей бы фасонить. Сейчас у нас ремонт начинают. Папка добился, факт. Он чего хочешь может добиться, потому что совсем не трусит начальства, — с привычным напором высказался Сережка.

Борис Ефимович, прищурившись, посмотрел на Катриша.

— Твой папа, Сережа, смелый человек, а я вот робею перед начальством. У них забот побольше моих будет.

— Ну мы пойдем. Топаем домой, Эдь, — забеспокоился неожиданно Сережка, дернул меня за рукав. — Пошли, пошли, еще уроки учить.

— Уроки учить надо, — согласился учитель. — Уроки святое дело. Я вас понимаю, ребята.

Он сунул кисть в баночку, снял картину с мольберта и сделал еще несколько замечаний, которые я почти не слушал — моим вниманием овладели заманчивые рамки у стены. Это были готовые работы, и мне очень хотелось на них взглянуть.

— Борис Ефимович, покажите свои картины. У вас их, наверное, много, — набравшись-таки храбрости, попросил я учителя. А Сережка взял у него мой холст и скоренько уложил в чемоданчик. Куда он торопится?

— Ну, так уж и много. Есть кое-что. Только свеженького предложить пока не могу. Хотя вы и старых-то моих работ не видели. Сейчас, хлопцы, одну минутку.

Я думал, что Ефимыч шагнет к тем рамкам, которые у стены, а он принес картины из другой комнаты. Их было две.

— Пишу сейчас мало. Не хватает времени для себя,— говорил он, устраивая картины на стульях, ближе к окну.— Полно оформительских работ. И еще таким вот художникам вроде тебя, Эдуард, помогаю. Сейчас выставку готовим, видите, сколько на-несли?

Взмахом головы он указал на те самые рамки.

— Вот, пожалуйста...

На одной картине — крепкий парень, с чуть припорошенным синеватой угольной пылью лицом, в черной шахтерской робе пил из ковшика молоко. Белая струйка стекала по жесткой бороде. А напротив шахтера была изображена худенькая девушка, почти девчонка, в платице в горошек. Она придерживала одной рукой ковшик и, улыбаясь, поглядывала на парня большими голубыми глазами. Небо над ними висело голубое, полное, утреннее. Вдали, у кромки горизонта, слабая дымка чуть-чуть окутывала шахтные копры и терриконы, и след ее тянулся к едва различимому поселку, к дворам. Все на холсте было знакомым, простым и естественным, казалось, Ефимыч только и сделал, что отворил окно весенним утром. Однако я ожидал чего-то необыкновенного и был немножко разочарован. Только глаза девушки оставляли ощущение тревоги, и отчего-то хотелось еще и еще раз заглянуть в них. Такие глаза помнятся долго, может быть, всю жизнь. Картина называлась «Ночная смена».

На другой — «Новенький» — скуластый, сильный парень весело примерял шахтерку. Кто-то из горняков похлопывал его по плечу, кто-то поправлял воротник. И все улыбались просто и молодого. Только старый сухой горняк смотрел оценивающе, строго, так и буравил новичка мелкими, из-под крутого лба, глазками. И тут же, на скамейке, рядом с коногонкой* лежала выгоревшая, со следами от медалей, гимнастерка.

— Я до войны, хлопцы, в шахте работал, навалотбойщиком,— сказал Ефимыч негромко, как бы в раздумье, надорванным своим голосом.

...Я и после видел картины Ефимыча, потому что частенько

* Коногонка — так называли шахтеры бензиновую лампу.

бывал у него со своими рисунками и акварелями. Мне нравились здоровые, сильные люди на его полотнах, выписанные художником очень любовно. Они словно утверждали собой земную тишину, наступивший мир и покой...

Когда мы вышли от Ефимыча, было уже безветренно, тихо, только от шахтного копра шел сиплый гул. Поселок не торопился открывать себя вечеру, в нем было еще по-дневному светло илюдно, но на островках снега на крышах уже притаились фиолетовые сумеречные тени. Дышалось легко, и пахло талой степной свежестью. За шахтным терриконом на склоне балочки с посеревшим ноздреватым снегом нахохлились вороны. Сережка запустил в них камнем. Они вспорхнули тяжело и протяжно, горько закаркали. И мне стало очень тревожно.

— Ух, воронье племя,— пригрозил им кулаком Сережка и свистнул еще.— Слышь, Эдь, а Ефимыч, наверное, тубик.

— Какой еще тубик? Никакой Ефимыч не тубик,— разозлился я.— Я тебе сейчас как тресну, тубик несчастный.

Я зашагал быстро, почти побежал от Сережки, но он догнал меня, схватил за рукав.

— Ты думаешь, мне его не жаль, да? Думаешь, никого на свете не жаль. Тебе жаль, а мне нет, да? — шмыгал носом Катриш.— И... и... фонарик твой не возьму. Не возьму, понял...

* * *

Картина «Ночная купальщица» подвигалась медленно. Я писал ее вечерами, потому что днем некогда — до обеда школа, а затем уроки — подготовка к экзаменам, и множество всяких дел.

Весной всегда много интересных дел, и все они, оказывается, там, за твоим окном, под голубым небом. Но каждый вечер я аккуратно принимался за работу. Я подолгу, с наслаждением готовил краски. Но вот я прикасался кистью к холсту, и меня тут же брала робость, появлялось странное, новое волнение. Особенно когда я писал девушку. Она получалась у меня совершенно не той, которую рисовало мое воображение,— не было

тонкости, изящества движений купальщицы, в которых бы угадывалась ее красота и слышалась музыка. Я нервничал и бросал кисть.

А ночью передо мной опять возникал ее удивительный образ. И я мечтал. Но мечтал почему-то не о том, что однажды на моем холсте произойдет чудо,— ночная купальщица оживет и закружится в танце; желтый диск луны станет бубном в ее руках, а море — роскошным платьем. А о том, какие разговоры вызовет моя новая картина у ребят нашей школы. Да только ли в школе, во всем городе!

Иногда я ходил в библиотеку и смотрел там альбомы с репродукциями великих художников: Рубенса, Рембрандта, Веронезе, Леонардо да Винчи, Эль Греко...

Я вглядывался в круглые с блаженными улыбками лица мадонн, в тяжелые глаза мужчин, вероятно, выписанные художником не в лучшие минуты жизни, и пытался понять, почему эти картины признаны шедеврами? Большоголовые мадонны Леонардо да Винчи ничуть не волновали меня, а тревожно-суровые лица апостолов, горемычных стариков и старух на полотнах далеких живописцев вызывали во мне только чувство печали. Зачем они? А тут еще темный фон полотна, на котором люди словно обречены были на страдания,— как угнетающе он действовал.

Конечно, я понимал, что за каждой картиной какая-нибудь тайна, и, наверное, нет нужды искать ключик к ней, а принимать ее душой и сердцем, как реальную жизнь. Просто жизнь. Не принять этого я не мог и горячо протестовал против ее черноты и скорби.

Я закрывал альбом и смотрел в окно. Стоял тихий солнечный май, и на улицах нашего города все было, как всегда. Торопились по своим делам прохожие, катили автомобили. На углу полная в несвежем халате мороженщица зазывала басовитым, почти мужским голосом покупать «эскимо» на палочке. Все было, как всегда, но я смотрел на автомобили, на прохожих, на толстуху мороженщицу с чувством человека, который вышел из мрачного подземелья. И все как будто в этом человеке смешалось — и печаль, и радость, и надежда. И очень хотелось ему жить. «Нет,

ничего подобного я никогда не буду писать,— думал я.— Ну что хорошего в утомленных заботами морщинистых лицах стариков нашего двора?»

Глава шестая

Дни бежали своим чередом, один за другим в затылок, как ребятня на физкультуре. Веселые и трудные, тихие и скучные.

Я почти отлично закончил семилетку — в свидетельстве одна только четверка по русскому языку. В июне, после экзаменов, нас собрали во дворе школы на линейку, и наши учителя поочередно поздравили с успешным окончанием семилетки. Теперь уже можно было серьезно думать о каникулах. Я дал себе слово летом закончить картину и не должен терять ни одного дня.

Последним на линейке выступил Ван Ваныч — директор школы. Он загорел, как-то заветрился за эти первые летние дни; на щеке ярко залунцовел рваный осколочный шрам. Ван Ваныч привычно подтянут — чувствовалась офицерская выправка. Летом у нашего директора, бывшего политрука Ивана Ивановича Золотарева, было много забот — два выпуска и ремонт школы. А в этом году еще и строительство спортзала. Кажется, зашевелились шефы, во двор заруливали машины, груженные песком и камнем.

Коротко, сухо вато поздравив, Ван Ваныч объявил мобилизацию на строительство спортзала. Он сказал:

— Никто нам спортзал не подает на блюдечке с голубой каемочкой. У наших шефов своих забот хоть отбавляй. Им надо добывать уголь, много угля. Стране он сейчас нужен как воздух.— Тут Ван Ваныч сделал паузу и, будто предвидя наши возражения, обвел строй укоризненным взглядом: — Мы здоровые, сильные, ждем, пока придут какие-то дяди и засучат рукава. Выходит, мы иждивенцы? Нет, мы не иждивенцы, верно?

— Верно,— не очень дружно отозвался строй, а Сережка за мной бросил с досадой: — Пропало лето...

На следующий день мы поступаем в распоряжение завхоза дяди Феди и учителя физкультуры Петра Трофимовича, сокра-

ценно Петэ. Учитель Петэ широкоплечий, сильный человек с веселой улыбкой на лице. Он еще достаточно молод и с нами на коротке. Когда мы построим спортзал, он будет вести секцию бокса. Он мастер спорта по боксу и мечтает о настоящем, с канатами, ринге в будущем зале.

А пока физрук набирает «группу сильнейших» — бригаду каменщиков. Конечно, мне бы тоже хотелось работать у него. Петр Трофимович оценивающе смотрит на меня и дает добро. Но дядя Федя перехватывает. Он формирует бригады подсобников, и ему тоже, наверное, нужны крепкие парни.

Мне обидно, и я возражаю самым решительным образом, и наш завхоз, человек в общем-то покладистый, уже готов уступить, но Катриш отволакивает меня в сторону и заговорщически шепчет:

— Дурной, куда ты прешь? Там старшеклассники, понял. Заездят. А на подсобке наши пацаны и девчонки.— Сережка кивком головы указывает на Ирочку Проявкину.— Вот и твоя Ирка с нами. А ты прешь.

Конечно, хорошо работать рядом с Ирочкой. И все-таки обидно. Почему Катриш всегда решает за меня? В конце концов оказывается, что Сережка прав, мне нечего противопоставить и мнения своего я не имею. При чем тут Ирочка Проявкина, если я решил? Обидно. Сережка, однако, все сказал и двинул на подсобку. И я, маленько поколебавшись, поплелся за ним следом.

И вот мы гоняем ручные тачки с песком к огромному чану, в котором готовят раствор. Накануне, когда мы еще сдавали экзамены, старшеклассники вырыли канавы под фундамент. Теперь его закладывают камнем.

Сережка работает с девчонками. Девчонки в стареньких платицах, в белых косынках, какие-то домашние. Среди них Ирочка. Я все время думаю о ней — взгляд ищет ее сам собой, и удивительно, что всякий раз наши взгляды встречаются. Ясное дело, здесь не обошлось без Сережки, но когда ты влюблен впервые в жизни, всегда кажется, что в тебя тоже влюблены без чьей-то подсказки. Девчонки совковыми лопатами насыпают в наши тачки песок.

— Поддай жарку, поддай. Раз-два, раз-два,— командует ими

Сережка.— Да не лотошите, сороки. Всем поровну. Клименко можно больше. Не бойтесь, не загнется. У него широкая шея, известный факт.

Девчонки валят песок на мою тачку, а Катриш черенком лопаты указывает на Проявкину, полюбуйся, мол, на свою красавицу. Он тычет так откровенно, что Ирочка, догадавшись, краснеет. Я показываю Катришу кулак, только в пустой след. Он орет на весь двор:

— Как много девушек хороших...

Девчонки хохочут. Но тут появляется дядя Федя, и Сережка, посерьезнев, бойко докладывает ему, сколько отгрузили тачек. Дядя Федя доволен — с таким начальником не соскучишься. Он говорит:

— Молодцы, ребяташки. Маленько еще подгорните песок. Не растаскивайте.— Он смотрит на Катриша, и тот принимает «цу» на себя.

— Эт мы счас, дядь Федь. Ну-ка взяли лопаты. А то я гляжу, с вами коммунизм не построишь.— Сережка делает первый мощный бросок, включает девчонок.— Навались, братва, навались.

К полудню становится жарко и я снимаю рубашку... А через пять дней мою кожу покрывает бронзовый загар. Вечером, после работы, я с удовольствием моюсь под колонкой в нашем дворе, как старик Сурин. Лидка с любопытством разглядывает меня — ей нравится загар. Она стоит в трех шагах, грызет семечки и спрашивает о стройке. Она любит разные подробности и злится, что я отвечаю коротко, почти нехотя. И вдруг я гашу разговор мощной, направленной на нее струей воды. Лидка визжит, отскакивает.

— Противный, я с тобой больше не разговариваю,— сердится Степанкова. Она уходит к столику под абрикосом, садится там за него и, подперев руками лицо, смотрит на меня очень внимательно. И от этого ее странного, пронзительного взгляда я вдруг остро ощущаю свою вину, хотя вина-то совершенно ничтожная. Но хочется подойти к ней и сказать что-нибудь ласковое. И я подхожу, однако ничего ласкового так и не могу сказать. Просто подхожу, и мы миримся.

Июньскими ночами над городом гремят летние грозы, с густыми ливнями, которые катают по крышам тяжелые чугунные ядра и врываются в сон хлесткими ударами града о ставни, как выстрелами свинцовой шрапнели. Утрами город промыт, воздух прозрачен. Пахнет в нем степью, чабрецом и полынью. И крик опрокидывающейся на ближайшем терриконики вагонетки: «Ух! Хо-хо» — кажется немислимо близким и очень насмешливым.

Утром я обычно заходил за Катришем, стягивал его с постели и долго ждал, пока он соберется. Мы выходили с опозданием. Я нервничал и торопил Сережку, но тот не спешил, тянулся следом, то и дело протирая очки. Я нес его матерчатую сумку с продуктами, пока он приводил в порядок свои очки. Почти у школы Сережка вспоминал о сумке, отбирал ее и, покосившись на мой газетный сверток, спрашивал:

— Чего мать положила?

— Сало с хлебом и яйца.

— Я, Эдь, скоро разжирею от твоего сала. А сладенького нет?

— Нет.

— У меня тоже нет. Вареники с клубникой. Чепуха.

В перерыве мы ели вместе. Сережке всегда давали сладкое — шоколадные конфеты, пирожки с повидлом, ватрушки или вареники. И все это, по мнению Сережки, было чепухой. Когда он заводил такой разговор, я чувствовал себя очень скверно.

В очередной раз я прихожу к Сережке и вдруг встречаю его в подъезде. Только Катриш ли это? Свежий, аккуратно причесанный, отутюженный парень с офицерским планшетом в руке деловито спускается по лестнице. Я растерянно замираю, может, я чего-то забыл и сегодня не обычный рабочий день, а праздник?

— Привет, Серж. Ты что, на работу не идешь? — очумело спрашиваю я.

— С чего ты взял? Как раз на работу топаю. Ну ты зря пришел. Нам теперь не по пути.

Я лупаю глазами — не могу сообразить, на какую работу шагает Катриш в таком виде.

Мы выходим из подъезда, Сережка озабоченно смотрит в небо, потом внимательно на улицу.

— Как ты думаешь, дождь будет?

— Наверное, нет. Ни облачка. А что?

— Что «что»? Мы сегодня с Федор Семенычем на базу едем. На его «Москвиче». Кой-какие материалы надо выписать для школы. Я ему помогу с выпиской. Посчитаю. Я думаю, он не здорово варит в математике. Наверное, три класса, а остальное — коридор.

— А ты, конечно, здорово варишь.— Мне становится вдруг смешно.

— По крайней мере.— Сережка достает платок, тщательно вытирает подбородок.— Вот жарит с утра. Точняк дождь будет. Развезет. Еще свалимся в кювет. Ты, Эдька, топай, топай на свою работу. Я здесь буду Федор Семеныча ждать. Мы договорились, он за мной ваедет. Проявкиной приветик.

Я отхожу от Сережки. Нет, мне совсем не обидно. Пускай Катриш раскатывает на «Москвиче», помогает дяде Феде выписывать материалы. Это ведь тоже нужно. Только отчего-то неспокойно на душе. Непокойно, и все.

У входа в школьный двор я встречаюсь с Петром Трофимычем. Он тоже идет на работу. Он здоровается со мной за руку. Все-таки приятно, когда учитель здоровается с тобой за руку.

— Сегодня будешь работать на кладке,— говорит Петэ.— Я скажу Федору Семеновичу. Не волнуйся.

Нет, я не волнуюсь. Я с удовольствием буду работать на кладке.

— А класть стены сложно? — интересуюсь я.

— Не боги горшки обжигают. Я тебя поучу. Я тоже научился в твоем возрасте. В эвакуации, в Сибири. Сначала военный завод строили, потом бараки для жилья. И кладку освоил, и топором намахался вот так.— Петр Трофимович чиркнул пальцем по горлу.— Глаза, парень, страшатся, а руки делают.

И в самом деле Петр Трофимович учит меня кладке. Как заводить углы, как следить за уровнем, делать расшивку. Чтоб, значит, на стену «любо-дорого смотреть было».

Новая работа увлекает меня, и я забываю о Сережке. Но он

напоминает о себе — это когда «Москвич» дяди Феди подкатывает к стройке. Сережка открывает дверцу, свешивает ноги на землю и что-то там пишет в своем планшете.

Однако через несколько дней Катриш находит меня на лесах. Он опять в рабочей одежде. Сережка трется возле, долго наблюдает за работой, какой-то он общипанный. Должно быть, разжаловал его дядя Федя.

— А ты уже насобачился мастерком махать,— заключает наконец Катриш.

— Петр Трофимович научил.

— Вообще здесь лучше. А меня на растворный участок перевели. Слушай, ты почему утром не зашел? Я из-за тебя проспал. Вот это да?! Он из-за меня проспал.

— Ты же на «Москвиче» работаешь. Сам сказал — нам не по пути.

— На «Москвиче». Охота была этот драндулет сторожить и вставить еще ни свет ни заря.— Катриш отколупнул засохшую кляксу раствора на брюках.— Вообще у меня к тебе разговор имеется. Потолкуем, а?

Последние слова он произносит почти шепотом, и я понимаю — Сережка не шутит. У него определенно серьезное ко мне дело.

Я отпрашиваюсь у своего напарника, и мы спрыгиваем с лесов, идем в конец двора. Усаживаемся там на камни. Сережка медлит. Он все-таки чем-то опечален и совсем не похож на себя, во всяком случае на того никогда не унывающего очкарика Сержа, которого я знаю очень давно. Я не пойму, что с ним случилось.

— Как ты думаешь, если человек совершил ошибку, а потом ее осознал, он останется хорошим человеком? — спрашивает Сережка и пристально смотрит мне в глаза.

— Не знаю. Смотря какую ошибку.

— Не надо мне было соглашаться ездить на этом «Москвиче»,— вздыхает Катриш.— Лучше бы я песок грузил. Пацаны взъелись. Дразнят еще: «Зам. завхоза по табуреточной части». Но я же не мог отказать дяде Феди, правда, Эдь, не мог?

Я пожимаю плечами.

— Ты поговорил бы с пацанами, чтоб не дразнили. Они тебя крепко уважают. Я же дружу с Риткой Жарковой. Факт. Каково ей слышать, как они обзывают меня. Поговоришь с пацанами, а?

— Попробую.

Я встаю — надо идти работать, но Катриш тянет меня за руку.

— Не торопись, не торопись.— Сережка вдруг преображается, в глазах хитрые искорки.— Есть новости, мужик. Я с Проявкиной договорился. Она придет сегодня в парк к семи часам. У входа будет тебя ждать, понял. С Ирккой придет Лариска Евко, но ты не бойся. Евко так, для фасона. Ты прямо подходи к ним, не трусь. Лариска отчалит, и вы останетесь. Факт.

Я хочу спросить у Сережки: «Ну кто, кто тебя уполномочил?» Однако язык не слушается. Но Сережка догадывается, о чем я хочу его спросить. Просто я недоволен и доволен одновременно. Должно быть, на моем лице смятение. Сережка заявляет:

— Вы так будете переглядываться до китайской пасхи.

А может, он поступил правильно? Я бы, наверное, не решился. В самом деле, так можно переглядываться тысячу лет.

— Так что держи лапу, мужик. И значит, того, не опаздывай.

Я крепко жму Сережину руку и ухожу работать.

Как долго ждать до семи часов вечера...

Дома я тщательно моюсь под колонкой. Лидка опять вертится возле меня. Ей определенно не дает покоя мой загар. Она говорит:

— Эдик, я скоро уеду на сборы. В Таганрог на Азовское море. Вот увидишь, я загорю лучше тебя. А то ты больно воображаешь.

Я молчу. «Пожалуйста, загори лучше меня. Я не против. С чего она решила, что я воображаю?»

Потом я вытираюсь — быстро гоняю по мышцам вафельное полотенце и будто между прочим сообщаю Лидке, что иду на свидание в парк.

— Это с той самой Проявкиной? — интересуется Лидка, и я улавливаю в интонации ее голоса ехидство.

— С той самой,— так же ехидненько отвечаю я и убегаю в дом. Нет, все-таки странно, почему Лидка не переносит Проявину? Она же ее совершенно не знает.

* * *

Конечно, я очень волновался, когда шагал на свидание к Ирочке. Но все получилось именно так, как сказал Сережка. Я пришел к входу в парк почти одновременно с Ирочкой и ее подружкой Лариской Евко. Я вежливо, ломким, однако, голосом поздоровался с девчонками, хотя здороваться, наверное, не стоило — мы ведь виделись в школе. Но если б я не поприветствовал их, как бы я подошел? И вообще с каких слов надо начинать разговор, когда впервые в жизни приходишь на свидание? Нет, я не знал, с каких слов, и Ирочка, по-моему, тоже. Ирочка только сильно покраснела, когда я возник перед ними. Представляю, что было бы с нами, не окажись рядом Лариски Евко. Но Лариска сразу взяла старт, затараторила о школе: о прошедших экзаменах, о стройке и вообще обо всем на свете, и получилось так, что разговор между ними не прерывался, просто возникла небольшая пауза, которую заполнил своим появлением Эдька Клименко из параллельного класса.

Мы вошли в парк, и я с ужасом подумал, что в любую минуту может оборваться звонкое журчание Ларискиного голоса — она уйдет, и я останусь один на один с Ирочкой, и все вокруг будут пялить на нас глаза — помрешь от стыда.

Но болтушка Евко, к счастью, не собиралась покидать нас. Она в очередной раз поменяла тему и теперь вещала о какой-то придурковатой тете Кате, которая разводит кошек, устроила в своей квартире кошачий питомник и дарит всем котят.

— Ой, Иринка, такие чудненькие мордашки! Такие чудненькие! — восклицала Евко.

Впрочем, я слушал Лариску невнимательно. От волнения я вообще едва переставлял ноги, будто пробирался на ощупь сквозь

горячий туман. Вы, должно быть, помните, как это бывает. Шагнешь ни жив ни мертв. Мир окружающий — сам по себе, ты в нем — сам по себе, но очень хочется сблизить, слить воедино эти два существования, обрести, наконец, себя — вздохнуть полной грудью и запеть, может быть, закричать от счастья. Но этого как раз и не получается. О чем я тогда думал? Да и о чем может думать мальчишка на первом свидании? О том, что жизнь прекрасна мигом волшебства, который уже никогда не повторится в этом своем первоначальном виде — такой очень наивный и святой миг? Нет-нет, ничего подобного мне и в голову не приходило. Честное слово, было ужасно сознавать, что вот-вот уйдет Лариска и мы останемся вдвоем. Только вдвоем...

Возле летней эстрады мы остановились. Духовой оркестр исполнял вальс «На сопках Маньчжурии». Музыканты — сплошь старички — держались спокойно, важно, а руководитель, толстый, краснолицый человек с петушиным хохолком рыжих волос, суетился перед ними, смешно подскакивал, выписывая руками вензеля. Мы послушали немножко, и тут Лариска вдруг вспомнила о том, что ее дома ждут дела. Ей надо помочь маме. Однако я уже мало-помалу освоился, даже предложил проводить Лариску, но та наотрез отказалась, заторопилась.

И мы остались вдвоем. Я свернул с главной аллеи. Ирочка безропотно пошла следом.

Было душно, в отяжелевшем от дневных испарений воздухе пахло отцветающей акацией.

— У вас классная Анна Петровна, географичка? — тихо спросил я.

— Да, Анна Петровна, а что? — ответила Ирочка, с каким-то испуганным любопытством заглянув мне в лицо.

Я отлично знал, что классная руководительница у них Анна Петровна, географичка. Просто навстречу шла женщина, похожая на нашу географичку. Я даже вздрогнул. Вот я о ней и спросил — молчать уже было невмоготу. И теперь надо было как-то выкрутиться, чтобы не выглядеть в ее глазах идиотом.

— Нет, ничего. Географичка строгая, — начал я коряво. — Такой мощный предмет, столько интересного в мире, а она все по учебнику, шпарит от параграфа к параграфу. Ни одного случая

не рассказала. Могла бы что-нибудь из путешествий Джеймса Кука или Магеллана. Или об испанских завоевателях-конкистадорах. Там такие дела...

— А нам она рассказывала на классном часе про вулканы. И еще про гибель «Титаника»,— возразила Ирочка, не очень, правда, уверенно.

— На классном часе — на уроке,— проговорил я, теряя интерес к географической теме. Конечно, я мог бы рассказать Ирочке об испанских конкистадорах вместо Анны Петровны, читал я про них, но не покажусь ли я ей хвастуном?

...На следующий день и последующий мы снова гуляем в парке. Гуляем и молчим. Я уже не волнуюсь так, как в первый день, и мог бы, конечно, говорить о чем-нибудь. Например, о своих картинах или прочитанных книгах. Да мало ли о чем. Но говорить ни о чем не хочется, и я все время думаю о том, что дома на мольберте меня ждет картина «Ночная купальщица». В июне я почти не прикоснулся к ней. Правда, были на то серьезные причины — экзамены и вот работа на строительстве спортзала в школе. Но для художника — это, пожалуй, не оправдание. Все-таки можно было найти время для картины.

А в очередную нашу встречу я вдруг обнаруживаю, что у Ирочки не такие огромные глаза и косички совсем тоненькие. И вся она какая-то совсем не такая. Почему я решил, что Проявкина — красивая девчонка? Эсмеральда. Ничего особенного. Девчонка как девчонка. Да и не в одной красоте дело. Просто оказалось, что нам не о чем спорить. Ирочка ни разу серьезно не возразила мне, и мы ни разу не поссорились. А так, наверное, не бывает.

Словом, дружбы у нас не получилось. Но Лидке я об этом не сказал. Неловко, и вообще, какое Степанковой дело. Но вечерами я не ходил в парк, и Лидка однажды в разговоре насмешливо заметила:

— А твоя Проявкина все-таки дылда.

— Выдумываешь,— без энтузиазма возразил я, уклоняясь от разговора. По-моему, Лидка все поняла.

Наступил июль. Он принес зной и скуку. От терриконов, как от жаровен, понесло прогорклым чадом, и синеватая пыль под

ногами, под автомобильными шинами стала ядреной. Старый цыган-жестянщик, делая утренний и вечерний обход наших улиц и покрикивая: «Чиню ве...о...дра...а...стрюли», только усиливал эту скуку, томление. Я всякий раз встречался с ним — бородатым, в нищенской одежде человеком с кругляшком жести на плече, когда шел на работу в школу или возвращался с нее. У жестянщика были тяжелые, остекленелые глаза. Они мертво сидели в глубоких темных глазницах, очень страдающие и гневные.

В первых числах июля мы закончили работы в школе, то есть наши, восьмые уже, классы. Конечно, до открытия спортзала было еще далеко. Но зал получался на славу. Теперь школа с пристройкой стала походить на гигантскую букву «Т».

В июле Лидка уехала в Таганрог на спортивные сборы, а потом и я — в пионерский лагерь на Черное море на две смены. Я бы никогда не согласился на две смены, но мама, помня о моей болезни весной, уговорила — ей немалых трудов стоило выхлопотать путевки. Впрочем, я впервые ехал к морю и надеялся, что буду писать морские пейзажи. Я взял с собой все необходимое. Холст с «Ночной купальщицей» я спрятал за шифоньер, подалее от материных глаз...

* * *

Из пионерского лагеря я вернулся в конце августа. Город кутали тучи, моросил зябкий дождь — предвестник осени. Мама меня не встретила, но я не огорчился. Я знал, у мамы сейчас очень много работы...

Под вечер забежала Лидка, воскликнула:

— Ой, какой ты черный! — Она поздоровалась со мной по-мужски за руку, бесцеремонно повернула меня к окну. — Слушай, по-моему, ты возмужал. Ну, теперь тебя не волнует твой нос?

Я смутился — чего это она вспомнила? Некогда мне думать о всяких глупостях.

У Степанковой оказалось много новостей, и самая главная: Лидка на сборах выполнила норматив первого взрослого разряда.

Об этом она писала мне, а теперь вот рассказала подробно. Конечно, я рад за нее. Мои успехи были скромнее. Я показал ей альбом с рисунками и один морской пейзаж в акварели. И еще я сказал, что в лагере много играл в футбол и вообще не прочь бы серьезно заняться футболом.

Мы вышли во двор. Под вечер распогодилось. С неба сбежали тучи, оставив редкие серебристо-белые облака, тонкие и круглые как блюдечки. Солнце, спрятавшись за терриконик, оплескало мрамор породы последним закатным золотом. Во дворе смазались тени. После дождя прохлада была еще по-летнему мягкой, но Лидка отчего-то съежилась и стала будто бы совсем маленькой. Она была в полосатом платице с белым кружевным воротничком. В этом платье я прежде ее не видел. По-моему, оно ей к лицу.

Лидка села за стол под абрикос, я — напротив. Улыбнувшись, она наскоро переплела конец косы потуже, сколола невидимкой и бросила косу за спину. Она так и светилась, и мне показалось, что я не видел ее тысячу лет.

— А ты серьезно хочешь играть в футбол? — спросила Степанкова.

— Конечно, серьезно.

— Если хочешь, я могу поговорить с нашим тренером. Он всех знает, скажет, к кому обратиться,— предложила Лидка.— Запишешься в секцию. Будем вместе ходить на тренировки.

...Через несколько дней я записался в секцию футбола. Тренер обещал сделать из меня толкового атакующего полузащитника. Вскоре я уже играл в юношеской команде нашего города.

Ребята из команды прозвали меня солидно — Клим. И однажды я случайно подслушал разговор в раздевалке.

— Клименко — способный парень. Отлично чувствует поле,— говорил тренер.— И по воротам бьет прицельно.

— Точно! У Клина удар! Если Клим пустит, всегда опасно,— поддержал кто-то из парней.

Я старался. Мне нравилось играть в футбол, и я пропадал на стадионе все свободное время. У меня едва хватало времени на уроки. Иногда я подумывал, что неплохо бы играть за наш

город в команде класса «Б». Тренер взрослых присматривается к нам, и может так случиться, что его заинтересует юный полузащитник Эдуард Клименко.

О «Ночной купальнице» я вспоминал редко — холст так и лежал за шифоньером. А тут еще распался школьный изокружок, потому что Ефимыч надолго уехал лечиться в Крым.

Нет, я не бросил писать картины, а временно отложил. Просто так сложились обстоятельства. Поздней осенью, когда пойдут дожди, я вернусь к мольберту...

Однако в нашем городе долго держится погожая, теплая осень.

Глава седьмая

...В декабре в нашей квартире появился лысоватый, в пенсне, старичок с потрепанным ученическим портфелем без ручки. Он держал его крепко за угол, как щенка за загривок. Старик разделся и присел к столу. Он приветливо улыбался и плохо скрывал, что принес известие, которое, несомненно, нас обрадует. «Как живете? На что жалуетесь?» — спрашивал он и не спешил. Ему, наверное, тоже хотелось получить удовольствие. Я догадывался, о чем он скажет. Об этом уже с год поговаривали в нашем дворе. И вот оно, официальное известие, — наш дом приговорен к сносу. Это случится весной.

До того дня я вряд ли серьезно задумывался о том, что может наступить его последний час. Не раз любопытство прибывало меня к взрослому костерку в какой-нибудь теплой кухоньке. И я опять слышал, что «наверху» уже все решено, бараки «вскорости» поломают, вот-вот жильцам придется смахивать пыль с чемоданов. В тех разговорах было больше желаемого, чем правды, и я сомневался — переезд на новые квартиры казался несбыточным. Однажды, надев выходной костюм с наградами, в исполком ходил дядя Костя. Вернулся он быстро и сказал, с досады секанув ладонью воздух:

— Все это — вилами по воде.

Соседи огорчились, а я усмехнулся. Я прочно жил в старом

дворе по улице Красных Зорь, и только, пожалуй, мечты уносили меня из него далеко-далеко. Но и в них я возвращался. Знаменитым художником, уважаемым, живущим в большом городе чело-веком, я все-таки возвращался в свой двор. И был по-детски счастлив сознанием постоянства.

И вот к нам первым пришел старичок в пенсне. И отдалившись на миг от радостного известия, я вдруг с болью подумал, что никогда уже не буду жить на Зорях.

А радость пошла дальше по двору, распахивая квартиры и души. Вечером у нас были посиделки — собрались все женщины двора. Шумно обсуждали новость. Никого не смущало то, что первыми под слом идут бараки, и застройка начнется чуть ли не с середины улицы. Тут все единодушно решили, что дома наши государственные и хлопот с нами поменьше, чем с капризным частником. Переселят барачников в «хоромы» на окраине города, и будьте довольны. А частник потребует квартиру в центре, да еще за свой дом, да за подворье цену заломит. Не съедет, и все.

— Вот так, милые, центру придется откланяться,— рассуждала тучная, пучеглазая бабушка Вера из пятой квартиры.— А я себе думаю: на кой ляд нам центр? У меня от топки, от золы проклятой да от ведер с водой уже руки отваливаются.

Женщины, которые постарше, с нею согласились, а те, что помоложе, с вызовом усмехнулись, такое сказать — центр не нужен. И вообще есть ли, мол, закон, чтоб барачников выгонять на окраины без их согласия? Разузнать надо и что-нибудь предпринять, пока не поздно. (Но никто, конечно, ничего не разузнал и тем более не предпринял.)

Я сидел на скамейке-мелковушке возле печки, полузгивая семечки, и слушал соседей. Посиделки у нас бывали нередко, но такие вот многолюдные — первый раз.

За окном схватывался ветер, задувал в ставни: противно скрежетал прогон, там было студено и метельно. А здесь тепло, уютно от печи, от посапывающего на алых конфорках чайника, от сладкой тесноты разговоров.

Я смотрел на лица женщин с напряженным вниманием, и что-то новое открывалось мне в них, одинаково розовых, хмельных

от неожиданной радости. Смешное и тревожное. Наверное, так бывает, когда ты удалишься вдруг от близких тебе людей на годы и станешь с ними вровень и умом, и сердцем, и опытом прожитой жизни. Ты поймешь их страдания и надежды какой-то выплеснувшей из детства зрелостью, как будто коснешься вечной земной тайны, печально ощутив всю удивительную краткость этого прикосновения.

Вот бабушка Вера — желтовато-морщинистое личико, туго обрамленное косыночкой, формой и цветом напоминавшее жухлый осенний лист, умиленно тараторит себе под нос. Ей поддакивает немногословная, чистая противоположность, бабушка Нюся, и глаза ее по-ангельски светлы.

...Я и сейчас вижу те далекие улыбчивые лица баб Вер, тетя Зин, тетя Клав. Они остались неизменны, вечны в рисунке с тех последних посиделок в нашей квартире. В том разговоре жильцы с легкостью рушили свой дом, принесший им немало худа. Им вообще казалось неуместным вспоминать прошлое, редкие счастливые дни. Но и тогда — в неожиданно потупившемся взгляде, в нервной ухмылке, в дужке задумчиво приспущенных губ — угадывалась добрая память вместе прожитых суровых лет...

Вдоволь, от души наговорившись, женщины пили чай с вишневым вареньем, негромко толковали о своих заботах, о мужьях и детях. Протяжно, тоскливо спели и разошлись почти в полночь.

Потом радость как-то быстро истратилась в суете дней, но я заметил — соседи стали чаще улыбаться друг другу. Просто в нас затаился праздник. Праздник Ожидания... А в конце марта, когда побежали погожие дни и всюду зачернела, покрываясь сухой коркой, земля, барак закипел в приготовлениях к переезду. Из квартир посыпались на отвердевшую землю железные кровати и кушетки, блеклые тумбочки и кухонные столы. Новые резкие запахи наполнили двор. Соседи плавил в кухоньках шоколадные ломтики столярного клея: латали шифоньеры и шкафы, щедро протравливали керосином скрипучие «клоповники», покрывали масляной краской тумбочки и столы. Вокзальная суета затихала лишь в сумерках, и тогда во двор возвращался

молоденький запах дымка свежезатопленных печурок в кухоньках — первейший у нас дух весны.

Воскресным днем мы с мамой тоже взялись за мебель. Я ремонтировал стулья — сажал на клей спинки, а мама лакировала этажерку. Нашей мебелью можно было отлично обставить какую-нибудь контору утильсырья, и я недовольно бурчал.

— Мебель как мебель. Как будто у кого-нибудь из наших соседей есть лучше, — не выдержала наконец мама и вдруг улыбнулась: — В новую квартиру, сынок, мы обязательно купим хорошую вещь.

— Какую еще вещь?

— Трюмо! — воскликнула мама. — Но давай вначале переедем.

— Трюмо? Почему ты решила трюмо? — недоумевал я.

И мама объяснила. Трюмо, оказывается, делает квартиру очень нарядной. Такое зеркальное чудо она как-то видела у знакомой. Но я все-таки был против трюмо — у нас имелось довольно приличное зеркало. Вот если бы радиолу. Я сказал маме, что во всех нормальных домах есть приемники и радиолы.

— В других домах, сынок, есть еще и отцы, — ломко ответила она и часто замахала кистью.

— А ты чего ждешь? Уже б нашла себе кого-нибудь. Другие выскакивают замуж и живут. А ты еще красивая, посмотри на себя, — бухнул я.

— Слава богу, утешил. Красивая, — засмеялась мама, но как-то неискренне, и я со страхом подумал, что она в самом деле может последовать моему совету. А вдруг у нее уже есть кто-то на примете? Еще не хватало чужого дяди в нашей квартире.

Я потупился.

— Ну разве кто посмеет сравниться с твоим отцом, — шутливым тоном произнесла мама. Она, конечно, поняла, о чем я задумался. Вдруг захотелось ее обнять, но мне впервые стало неловко.

Впрочем, в те хлопотные дни приготовлений к переезду она не раз вспоминала отца, верно, думала о нем.

В очередной аврал жильцы принялись очищать погреб и са-

раи. Вытаскивали вонючие кадки, полные лохмотьев, рваной обуви, фанерные ящики, дырявые тазы и кастрюли. Кадушки, не торгуясь, продавали людям из соседних домов, а хлам, помогая друг другу, грузили на подводу, шумно договаривались с кучером насчет лишней ходки и украдкой совали в его заскорузлые ладони смятые рубли. Избавляясь от негодных вещей, пропитанных военной и послевоенной нуждой, жильцы словно изгоняли бедность. Вот-вот должна была открыться новая жизнь, и они с жадностью торопили эту новую жизнь, которую теперь не могли представить без прочного покоя, без полной радости благоустроенного семейного единения, без достатка. Они имели право...

— Н-но! Пошел, дьявол,— взмахнув вожжами, кричит кучер, и подвода, груженная хламом, дребезжа сзади примятым казанком, катит со двора. Вздыхая, жильцы смотрят вслед. И я вижу, как бессильно опадают их руки и лица замирают в выражении полудосады, полугрусти.

Конечно, не жаль кирзовых дырявых сапог или вон той латано-перелатаной шахтерки, в которой кто-то ходил в нашем дворе. А может, то брезентуха бабушки Нюсиного сына, который пропал без вести в самом конце войны, или мужа тетки Насти — красного подпольщика, брошенного фашистами в шурф шахты у нее на глазах. И вот сейчас, глядя вслед катящей со двора подводе, тетка Настя увидела в ней, в брезентухе этой, его, единственного, живого и неведимого.

Соседи закрывают сараи, вяло переговариваясь, расходятся по квартирам, по кухонькам, и двор вдруг кажется мне каким-то обмелевшим, пустым, скучным...

И вот в середине апреля переезжаем. Грузим машины. Мы с Лидкой тащим тяжелый, с коваными углами сундук и хохочем. Кому нужна эта гробина в новом доме? А бабушка Вера, хмурясь, покрикивает на нас, несерьезно, конечно, ничего вы, мол, дуралеи, не понимаете в жизни. С этим сундуком она выходила замуж — в нем было ее приданое. Бабуся пытается нам помочь и только мешает. У машины сундук отбирают мужчины и тоже смеются. Старуха, подбоченясь, командует ими, и те водружают памятник ее молодости на самое почетное место возле кабины.

Мы еще долго носим большие и малые узлы, разную мелочь.

Потом жильцы усаживаются на порожках, замолкают, как перед дальней дорогой. Женщины смахивают слезу и целуются. А мы с Лидкой делаем хозяйский обход.

Мы сидим на подоконнике в пустой квартире, где настежь открыты двери и апрельский ветерок приносит слабый запах дымка. Мы разговариваем — голоса гулкие, чужие.

— Слышал, Эдик, на этом месте построят дом и в нем будут жить железнодорожники.

— Слышал, в четырехэтажке.

— А у нас квартира на солнечной стороне. У меня теперь будет своя комната,— говорит Лидка, но совсем не радостно.

Степанковы получили ордер на трехкомнатную секцию, и о том, что у Лидки будет своя комната, она мне уже сообщала. Однажды мы ходили смотреть дом, в котором им дали квартиру на третьем этаже.

Я держу Лидку за руку. У нее горячие ладони. Потом я отпускаю ладонь и кладу ей руку на плечо. И мне кажется, Лидка сутулится, может, ей неудобно под моей рукой? Я жалею ее. Я не знаю, почему я жалел ее в ту минуту. Наверное, я прощался с другом. И пусть это девчонка, но я имел право обнять ее как друга. И ничего из этого не следует.

— Ты будешь приходить ко мне слушать пластинки. У меня хорошие пластинки,— шепчет она.

С чего мы решили, что расстаемся? Все будет, как прежде. Конечно, я буду каждый день приходить к ней слушать пластинки. А она ко мне — смотреть мои картины.

...Мы с Лидкой переселились в разные районы довольно далеко друг от друга. Я буду жить на улице с ужасным названием Путевая. На ней высокие дома и почти нет хаток и хозяйских палисадников. Но на свежем ровном асфальте отчего-то никто не играет в футбол, и по вечерам тихо, безлюдно.

Меня ждала тихая жизнь на «путевой» улице.

В моем подъезде на первом этаже поселился старик Сурин. И вскоре в новых квартирах замелькал деревянный плотницкий

ящичек Якова Ивановича — кому-то надо было поставить английский замок или подогнать балконную дверь.

Одно время я частенько встречал его на площадке возле своей двери — старик мастерил соседям антресоль, пилил на табуретке доски.

Он мягко здоровался со мной, обнаружив вдруг странную приветливость (последние годы в старом дворе Сурин почти не замечал нас — детей, только бранился пьяный).

— Эх, плотнички-работнички, хаток понастроили, а половицы гуляют, под плинтусами щели, как у бабки в зубах,— говорил он в сердцах, шепеляво-глухим от мешавшего мундштука голосом.— В аккурат доски не пришьют...

Тут Сурин, лихо приставив к правому глазу брусок, секунду-другую молчаливо приглядывался к его поверхности, точно прицеливался из ружья. Нет, розовое, свежее лицо старика в мелких перламутровых икринках пота совсем не выражало неудовольствия. И в жалобе на горе-строителей не сквозила досада, а скорее самолюбивое чувство своего превосходства.

Слушал я его рассеянно, потому что опять куда-то спешил — весной у меня всегда много дел.

В новой квартире мама отдала мне комнату. Первым делом я поставил к окну мольберт. Я твердо решил вернуться к «Ночной купальнице».

* * *

Наш дом-барак снесли в мае, недели через три после переезда в новые квартиры. К этому времени почти все прежние жильцы справили новоселья. Они были шумные и хлебосольные. А у бабушки Веры и тети Клавы — с песнями и плясками под гармонь. Конечно, ни денег, ни ласки не жалели.

Словом, праздники кончились, наряды вернулись в пропахшие нафталином шифоньеры, и от сказочного журчания воды в ванной мы уже не приходили в безумный восторг. Мало-помалу я начал привыкать к месту, к новым соседям, но, возвращаясь, например, из кино, все-таки сбивался на прежний путь

и вдруг оказывался на Зорях. И сны снились про старый двор, и я просыпался со странной тревогой и долго не мог уснуть. Мне чудилось, что я здесь в гостях, временно, а настоящая жизнь там и только там — на улице Красных Зорь. И я вспоминал ее со сладостью и печалью. Просто я еще не знал, что это только начало боли, что она не раз будет тревожить мои сны. И я буду просыпаться, как тогда, со счастливым ощущением возвращения, которого не будет.

Каждый день прежней путь-дорожкой по улице Красных Зорь я хожу в школу и вижу, как тает наш барак. С него уже сняли крышу, точно остригли наголо, разобрали потолок, и в пустых глазницах окон и дверных проемов завиднелись стены в зябкой какой-то голубизне.

А сегодня у двора появился старый, с отшлифованной до никелевого глянца гусеничной обувкой экскаватор. Он уронил зубастый ковш у стены, словно замер в нижайшем поклоне. И я решил пойти к Степанковым.

Лидка корпела над алгеброй. У нее в конце года тройка всегда спорила с четверкой. Лидка встретила меня с радостью, я должен избавить ее от математических мучений, как бывало в старом дворе.

— Эдька, как ты кстати. Ты просто умничка.— Лидка протянула мне открытый учебник алгебры, ткнула в него пальцем.— Здесь я иссякла.

Она усадила меня к столу, показала черновики решений. У Лидки пальцы перепачканы чернилами, и вся она какая-то издерганная.

— Ну, что ты на это скажешь?

— Я, конечно, не бог. Лидок, попробуем.

— Эдик, пожалуйста, не воображай, а? Если у меня будет трояк в году, сборов не видать,— сказала Лидка и вздохнула.— А там зона будет разыгрываться.

Лидка усаживается рядом, и я прошу ее пока не мешать мне. Должен же я разобраться.

Задачи меня увлекают. Я объясняю Степанковой, и мы крепко спорим, почти ссоримся. Лидка с умным видом пытается аргументировать очевидную глупость и только злит.

А за окном майские сумерки твердеют, город зажигает огни. Лидка включает настольную лампу, и лицо ее от абажура становится сиреневым. Лидкина мама приносит чашечки с компотом из сухофруктов и хрустящее домашнее печенье.

Мы пьем компот и разговариваем о разных пустяках, и тут я вспоминаю о том, что наш дом завтра будут ломать, то есть разбивать стены. Я говорю об этом Лидке, и той очень хочется взглянуть на него последний раз. Она вообще давно уже не была на Зорях. Мы договариваемся встретиться утром до школы на нашей улице, попрощаться со старым домом и назавтра так и встречаемся.

Утро выдалось солнечное, настезь открытое хорошему дню. В хозяйских палисадниках хлопотно, разноголосо — там споро цветут вишни, и дух от них клейкий, шальной. Кое-где горлачат еще на «бис» петухи. Но звуки давно разбужены, окрепли.

В старом дворе по-хозяйски толкутся рабочие. Они громкоголосо рассуждают о том, как удобнее и быстрее разобрать стены. Для них не существует барака, в котором мы жили, а есть каменная толстая кладка, мощь ее удивляет, невольно притягивает к себе огрубевшие руки. Так, мол, и есть — броня!

Ко двору один за другим подъезжают самосвалы, и вот экскаватор задирает ковш, отползает от дома, изготавливается...

Это все. Спущен флаг, команда покинула корабль, в открытые кингстоны устремляется вода, жадно заполняет трюмы. Еще мгновение — и в морской пучине окажутся палубные строения: рулевая рубка, пустой капитанский мостик...

Первый удар ковша приходится в верхнюю часть фасадной стены, в то самое место над окном, где еще совсем недавно висела первая написанная мною картина — морской пейзаж с маяком. И я слышу свое сердце — тонкая игольчатая боль прокалывает грудь. Точно так у меня заболело сердце, когда уходил от нас отец. И вдруг я отчетливо вижу его — там, в белесой штукатурной мути, в глубине комнаты. Я вижу его тяжелое, после многих дней бессонницы и непрерывного курева виноватое лицо, какую-то придавленную, старчески огрузлую фигуру. Таким он был в тот последний день в нашем доме. И может

быть, только сейчас, впервые за прошедшие годы, я думаю о нем не с обидой, а с грустью.

От очередного удара стена тупо валится, и дом как будто оседает. Костерки лепельно-оранжевой пыли вспыхивают в каменных порах, соединяясь, плотно зашторивают коричневатое крошево и клубами валят во двор.

— Эдик, смотри, Сурин,— кричит Лидка.

Он идет со двора от своей бывшей квартиры привычной широкой, шаткой походкой, сосредоточенно, очень прямо глядя перед собой. Удивительно. Всего в нескольких метрах от него рушится дом, из которого он с сыном уходил на войну, а старик шагает себе так, как будто ничего не случилось.

На старике черная пара. Это его выходной костюм с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака. Я хорошо помню в нем Сурина на праздниках. Зачем он надел костюм? В нем ведь жарко, и вообще старик не производит впечатления нарядного человека, по крайней мере, сегодня.

Он идет по двору довольно быстро, но как-то топко, наверное, густая рыжеватая пыль, похожая на дым, создает такую иллюзию.

И вот Сурин близко. Увидев нас, лицо его, скованное упрямой думой, оживает удивленно и радостно. Он останавливается и тотчас в левом, диковато вывернутом глазу иссиня-желтое веко судорожно сталкивает крупную слезу. Старик круто, с обидой встряхивает головой и, пробормотав: «Эхма», поворачивается и шагает прочь...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛИДА

Глава восьмая

В мае наш город достают грозы с жадными ливнями, но южные ветры уже несут сухое летнее тепло, и погожими солнечными днями над терриконами кудрявится розоватое марево зноя. На улицах дружно зацветают каштаны. В мягкой замше вислых, точно уши пуделя, листьев стоят охристо-белые букетики. От них исходит тонкий, какой-то дремотный аромат, и ты, охваченный им, легонько паришь над землей.

В мае мы с Лидкой видимся часто. Мне хотелось, как прежде в старом дворе, встречать ее каждый день. Возможно, то была инерция прошлой жизни. Как часто мы пытаемся сохранить то, чего сохранить нельзя. Инерция однажды кончится, но думал ли я об этом?

Мы ходим в кино, в парк, на школьные вечера, где за Лидкой ухаживают мальчишки, и я тоже за кем-то ухаживаю. А потом, когда я провожаю ее домой, она признается мне, что ей вот опять назначили свидание. Лидка смеется, а я советую ей на свидание пойти.

— Подумаю,— отвечает она, и я вдруг ловлю себя на том, что слышать мне это неприятно.

А иногда у нее дома мы крутим пластинки. У Лидки великолепные пластинки! Она привозит их из разных городов, в которых бывает на соревнованиях. Я вдруг обнаружил, что обост-

ренно полюбил музыку. И еще я жаждал научиться танцевать вальс и танго. Особенно вальс, чтобы на школьных вечерах не валять дурака в толпе пацанов, которые не умеют танцевать, и, стоя в тылу, неудачно острят.

И Лидка учит меня танцевать по всем правилам. Но занятия все-таки были редки — мешают родители. Если они дома, мы чинно сидим за столом, решаем задачки по математике, и музыка из радиолы звучит тихо-тихо. А когда они уходят, громкость включается почти до отказа, и Лидка тотчас превращается в строгого учителя.

— Пожалуйста, выпрямись,— командует она.— А то ты знаешь на кого похож? На боксера, ушедшего в глухую защиту.

— Лидка, откуда ты все знаешь?

— Знаю. А ты помалкивай. Ну вот, опять сутулишься. Неужели не понимаешь русского языка? Выпрямиться — это значит стать ровным.

— Ладно, Лид, попробую. Я способный.

— Вот так. Уже лучше.— Лидка оценивающе оглядывает меня и берет за руку.— Теперь, пожалуйста, расслабься, я тебя буду водить.

— Как телка на веревочке, да?

— Если хочешь...

Мы делаем первое широкое движение, потом еще и еще...

Я удивлялся, куда девалась моя легкость? Та легкость, с которой я врвался на штрафную площадку противника и с лета бил по воротам.

В танце я делаюсь тугим, каким-то резиновым. Я добросовестно двигаюсь за Лидкой, но в какой-то момент, не совладав с ритмом, сбиваюсь, наступаю на ноги. И хотя Лидка мужественно крепится, у меня вдруг пропадает к танцу интерес.

— Посмотри, Эдик, это же просто. Раз... два... три, раз... два... три,— кружится Лидка одна.

Удивительно. Откуда у девчонок такие способности к танцам? Может, это инстинкт? Я еще не встречал девчонку, которая бы не умела танцевать.

А иногда у меня получалось. И тогда ничего не существовало вокруг, кроме музыки и движения. Комната чудилась огромным

валом, в котором кружились только мы — я и Лидка. Я привлекал ее к себе очень близко, так что Лидкины волосы касались моей щеки. От волос пахло одеколоном «Ландыш», и меня охватывало неясное томительное чувство. Хотелось о чем-то спросить Лидку, просто так, чтобы услышать ее голос. Но я не решился. Она не делала замечаний, и я воспринимал ее молчание как благодарность. Но после такого танца Лидка становилась рассеянной.

Она подходила к радиоле и, сняв пластинку, долго искала новую, и в комнате повисала напряженная тишина, в которой я не находил себе места и совершенно терялся. Лидка стояла полубоком ко мне, и я мог видеть профиль ее задумчивого лица, покрытого свежим алым румянцем, черную тяжелую косу на груди. Она, по-моему, слишком внимательно разглядывала каждую пластинку, и мне хотелось подойти, тронуть ее плечо и тихо сказать: «Эй, Лида». И может быть, заглянуть ей в глаза. Но в следующее мгновение комната опять наполняется музыкой, и мы упорно делаем движения, но что-то уже ушло.

* * *

Однажды к Лидке я пришел с Катришем. Сережка давно хотел посмотреть трехкомнатную квартиру Степанковых. Возможно, о такой квартире усердно хлопочет его отец. (Просто невмочь стало Катришам ежечасно видеть Римку Везухину и прочих «постояльцев».) Отдельная квартира, в которой Сережка получит комнату и устроит в ней радиомастерскую, пока для него из области фантастики.

Катриш молча обошел все комнаты Степанковых, заглянул в ванную, а в туалете для чего-то выпустил воду из бачка. Мы ходили за ним следом. Лидка хмурилась.

В гостиной Сережка по-хозяйски развалился на диване и кисло изрек:

— Ничего хибара. Жить можно.

Затем он включил радиолу, повертел ручкой настройки, пощелкал переключателем диапазонов, рассказывая нам что-то из

истории отечественного радио, о разных там частотах и герцах, да так настырно, будто мы ему не верим и вот-вот станем возражать. Нет, мы с Лидкой не сомневались, что в радиоделе Сережка — специалист высшего класса, не зря же он ообирает ультракоротковолновый передатчик и в радиоклубе ДОСААФ уже свой парень. Мы только неловко переглядывались. У Лидки горели щеки, брови вздрагивали и вид был какой-то усталый.

Катриш небрежно похлопал радиолу по боку и сказал:

— Дребедень машина. Усилитель слабенький. Три ватта. Факт. А приемник у нас лучше, «Мир».

— Я, мальчики, пойду поставлю чай,— проговорила Лидка, не очень дружелюбно глянув на Серегу.

— Гони чай. А коржик есть? — спросил вдруг Катриш.

— Коржиков нет,— опешила Лидка.— Есть вишневое варенье. Ой, ребята, вы, наверное, хотите есть?

— Нет, я не хочу,— едва ли не закричал я.— Ничего, Лида, я не хочу!

— Не хочешь — не надо,— спокойно сказал Катриш.— Тебе никто насильно в рот не запихивает. А я вот не обедал...

От стыда я чуть не рухнул на пол. «Идиот голодающий... Дистрофик несчастный», — проклинал я Сережку. Надо же так вести себя в чужой квартире! Разве это первый случай? Как бы не так. Меня уже бесит от его простоты.

Мы с Лидкой пили чай и слушали музыку, а Катриш уплетал котлеты с картофельным пюре, то и дело перчил их и подсаживал — смотреть противно.

Мы рассуждаем о нашем будущем. Собственно, выступал Катриш. Он считал, что художник — профессия так себе, несерьезная, и было бы лучше для меня, если бы я играл в футбол в классе «Б» за наш город, а потом перешел в тренеры. И еще Сережка советовал мне идти в технический вуз, потому что я рублю в математике. Он не допускал мысли, что из меня может получиться настоящий художник.

— Ты помнишь картины Ефимыча? — спросил вдруг Сережка.

— Предположим,— усмехнулся я. Еще бы я не помнил картин Ефимыча! Я знал их почти все.

— Сила! Железно сделано. Ну и что?

— А правда, ну и что? — улыбнулась Лидка. Она, наверное, решила, что переносить Катриша легче с улыбкой.

— Да ничего. Кумекать надо. Дальше нашего города картины Сальникова не идут. Их там где-то валят и не выставляют. Он сам нам говорил, что пробиться сложно. Сейчас знаешь сколько рисуют?

— Ефимыч подразумевал другое. Трудолюбие и поиск, — сказал я, однако не так напористо, как Сережка. Его слова всегда звучали весомо и солидно. И от того, что я не мог ответить ему так же внушительно, в душе скапливалась обида.

— Трудолюбие и поиск? Чепуха. Отец говорит, что у нашего Сальникова связей нет, так ему и вековать неудачником. Без связей далеко не погрешь. И потом с биографией у него завыка вышла. А это серьезный факт, первостепенный, понял?

— А что у него такого с биографией? В чем ты его подозреваешь? — сорвался я.

— Я лично ни в чем. — Катриш дурашливо поднял руки. — Успокойся. Ты что, до сих пор не знаешь? Ну да, конечно, я забыл, ты же у нас в лесу живешь.

— Ну говори, говори, чего жилы тянешь, — грубо потребовал я.

— А правда, Сережа, объясни, пожалуйста, — попросила Лида.

— Ну что ж, извольте. Этот ваш Сальников в плен немцам сдался. Исторический факт. А после войны его в лагеря на перевоспитание задвинули. На Север. Там он туберкулез заработал.

— Все ты врешь! — вскрикнул я. — Он заболел легкими в Белоруссии на гнилых болотах.

— Это еще требуется доказать. А я располагаю достоверной информацией, — обезоруживающе спокойно проговорил Кат. — Что ты нервничаешь, мужик! Он же нормально перевоспитался. У него теперь патриотический подъем в творчестве. Может быть, все-таки ему когда-нибудь повезет. Хотя вряд ли. У Ефимыча семья — трое детей. Факт? И сам он больной, тоже факт. Если бы он не халтурил — труба. Почему Ефимыч из нашей школы в кинотеатр на афиши ушел? Да потому, что там больше платят,

Ты вот, Эдка, малюешь свою эту... «Купальщицу» и думаешь, что картину у тебя потом из рук вырвут, в Третьяковке рядом с Репиным повесят,— неожиданно хлестнул меня по больному месту Катриш.— Хаханьки. Так и выставили. Открывай пошире карман.

Я бы с удовольствием врезал Катришу. Зачем он вспомнил при Лидке о «Купальщице»? Я доверил ему, как другу, нашу с Лидкой тайну. Что подумает обо мне Лидка? Предатель! Да, я ему сказал, что хочу играть в футбол в классе «Б», но это не значит, что я отрекаюсь от своей мечты. Положим, я давно не прикасаюсь к «Ночной купальщице», но я все равно картину закончу и возьмусь за другую обязательно. Еще посмотрим, выйдет из меня настоящий художник или нет.

— Ты не обижайся, мужик, но похожее я уже где-то встречал. Может, у Куинджи?

— Угу. У Куинджи. Знаток,— возразил я, уже ненавидя Серегу. При чем тут Куинджи!

— А ты подумал, мужик, кому в наше время нужна твоя купальщица? Люди космические аппараты строят, мир трещит от научных открытий, факт. А ты какую-то девицу малюешь.

— Ты Эдику просто завидуешь, Кат! — вдруг сказала Лидка, да так резко, словно отпустила Сережке подзатыльник. У Катриша лицо приняло какое-то утиное выражение, очки съехали на кончик носа. Он никогда не слышал, чтобы Лидка называла его Кат.— Тебя слушаешь, так кроме науки людям ничего и не нужно. А искусство, поэзия?

— Стихи другое дело. Они к нашему разговору отношения не имеют.

— Имеют, имеют. «Купальщица», может, и есть поэзия, лирика. У Эдика талант, понял? Вот ты нарисуешь картину? Нет. И я не нарисую. Не дано нам с тобой, Сережка,— говорила Лидка и волновалась, красные пятна выступили на ее щеках.— Можно научить собирать приемники...

— Не скажи,— ухмыльнулся Катриш, а у меня мстительно мелькнуло: «Что, скушал?!»

— Можно, можно, Сережа, а рисовать — нет. Я верю, из Эдика выйдет настоящий художник.

Катриш хлебнул из чашечки уже остывшего чая.

— Да я-то что, я не против.— Он снисходительно похлопал меня по плечу.— Потянет и на художника наш Клименко. У него широкая шея, известный факт.

— Подлить еще чайку? — спросила у меня Лидка. Я отказался, какой там чай, а Катриш пододвинул ей свою чашку.

Он набрал полную ложку варенья, проглотил и произнес с важным видом:

— А я на завод пойду. Годик-два поработаю и буду поступать в радиотехнический. Дело решенное. Буду конструировать аппаратуру для спутников. С дипломом радионженера не пропадешь.

— Ой, мальчишки, нам еще два года учиться в школе. Я, например, еще не знаю, чего хочу. Иногда мне хочется быть учительницей, — сказала Лидка.

— Физкультуры? — поинтересовался Катриш и отчего-то мелко хохотнул.

— Нет, почему? Или ты считаешь, раз я занимаюсь спортом, значит, только физкультуры. А может быть, математики или физики. Хотя нет, математика мне трудно дается.

— Физику преподавать еще можно. А учить олухов математике? Была охота нервы трепать, — совсем уже по-хозяйски рассудил Катриш.

— «Олух», это ты кого имеешь в виду? — съехидничал я, намекнув Сережке, что он слабак в математике, но тот сделал вид, что не понял вопроса. Вскочил.

— Давайте попляшем, что ли.

Он поменял пластинку, прибавил громкость и задрыгался возле приемника. Подлетел к Лидке, церемонно склонил голову.

— Разрешите вас пригласить?

Я сидел на диване, тупо глядя на них, а точнее, на жердеобразное чучело в зеленых коротких штанах-дудочках, в клетчатой рубашке навывпуск и как будто видел Катриша впервые. Стиляга лихо орудовал руками и ногами. Они танцевали фокстрот и носились по комнате как сумасшедшие. Катриш совершенно измучил Лидку своими прыжками и поворотами. Я видел то усмехающееся лицо Лидки, то самодовольную физиономию

Серееги, наверное, он думал, что неотразим. Катриш покачивал головой и бубнил, повторяя мелодию, скользя рассеянным взглядом поверх очков. Но иногда мы встречались глазами, и он подмигивал мне, дескать, «учись, мужик, пока я жив». Неужели Катриш не догадывался о том, как он глуп и смешон?

То ли от орущей музыки, то ли от всей этой бестолковщины перед глазами у меня разболелась голова, и я подумал: «Зачем я прихожу сюда?» Здесь все было новым для меня: ухоженные, сияющие свежей краской комнаты, новая мебель, вид за окном. Да, новым и чужим. Даже Лидка, что-то объяснявшая сейчас этому жизнерадостному пройдохе, тоже вдруг показалась мне чужой. Захотелось немедленно пойти на улицу Красных Зорь и в старом дворе встретить прежнюю Лидку, своего верного товарища.

Я встал и быстро пошел к выходу. Хлопнул дверью. На лестничном проеме второго этажа меня догнал Катриш.

— Чумной, куда ты сорвался?

— Дела есть.— Никаких, конечно, срочных дел у меня не было. Но я спешил. Я хотел, чтоб Катриш отстал и потому свернул за ближайший от Лидкиного дома угол.— Мне сюда, понял?

Я сказал грубо, чтобы он уматывал, но Сереежка плелся следом — с него как с гуся вода.

— Хорошая девчонка,— говорил он.— Точно, мужик? Ты знаешь, я на Степанкову раньше не обращал внимания. Правда, у нее красивая фигура?

Я не ответил.

Мы брели по пустынному переулку куда-то на городскую окраину. В предвечерний час над нами висело тихое, чистое небо. Только далеко впереди у синееющего горизонта замерли два розоватых облачка — торопливые мазки, как проба кисти.

Катриш вновь и вновь расхваливал Лидку. Он ухмылялся и в уголках его рта собиралась слюна.

Я упорно молчал.

— Слышь, мужик, по-моему, Степанкова за тобой ухлестывает. Как она меня отбрила насчет твоего таланта?! Или у вас все в ажуре, и ты финтишь? — Он шлепнул себя по лбу.— Глу-

пец, конечно, в ажуре! — И, гаденько хихикнув, пропел: — Диванчики плюшевые...

— Ты что сказал, а?! — преградил я Сережке дорогу. Меня трясло. — Ты что это, гад, выдумал?..

— Да ничего, Эдь, я так... просто, — попятился Катриш. — Ничего, Эдь.

Я ткнул кулаком в посеревшую от страха физиономию, процедил:

— И не мужик я тебе, запомни...

* * *

Я всегда жалел и защищал Сережку. Он был хил и беспомощен, а мальчишки не переносят слабаков. Но Сережка обладал поразительным нюхом на чье-то превосходство и авторитет, даже пользовался у сильных ребят уважением. Сережка всегда ловко ускользал от опасности. Я догадывался, что он исподтишка подличает, юлит и заискивает, как все трусы, но это не касалось меня, и я был спокоен. Я доверял ему все свои тайны, принимал его разглагольствования без возражений. Катриш мог посоветовать и посочувствовать, когда мне приходилось туго. А сноровистая покорность, с которой Катриш выполнял мои просьбы, очень мне льстила. Как я не мог понять, что с третьего класса, с того первого дня, когда заступился за него, я дружил с угодливым лакейчиком, тайно точившим зубки?!

Но при чем тут Лидка? Я, кажется, вступился за нее? А разве бы я не вступился за чужую, незнакомую мне девчонку?! Однако я хлопнул дверью в ее квартире и оставил Лидку с этим пройдохой...

Я шел по улице Красных Зорь. Я и не заметил, как оказался на родной улице.

Навстречу катили груженные машины, и синеватая пыль от них быстро таяла в бледно-розовых красках догорающего дня.

Я шел мимо длинного высокого забора, которым обнесли груды развалин, и думал о разговоре в Лидкиной квартире. Из

головы не выходил упрек Катриша насчет нужности сейчас моей картины — какая-то жестокая правда таилась в нем.

И вдруг я почувствовал, что пуст — ударь, и от меня отскочит гулкий, как от барабана, звук. «Да, я не смогу написать свою «Купальщицу». Наверное, ничего уже не смогу написать, — потерянно размышлял я. — Сколько времени я почти не прикасаюсь к картине и вообще рисую очень мало. У меня много разных дел. Много. Нет, так нельзя».

Я прибавил шагу — сейчас я приду домой и серьезно возьмусь за работу... И таким бесконечно длинным показался мне путь к моему новому жилью.

Дома я закрепил на мольберте картину, достал краски и кисти. Я уже готов был нанести первый мазок и вдруг опустил кисть. А может, Кат прав, и такую картину кто-то уже написал?

«Борис Ефимович! Он, только он может сказать мне всю правду о картине», — с радостью вспомнил я об учителе и в следующую минуту уже упаковывал холст.

В поселок к Ефимычу я скоро добрался рейсовым автобусом.

Поселок замыкал городскую черту, и за последними мазанками, за парадным строем пирамидальных тополей у пыльного тракта, открывался малахитовый степной простор.

Я ступил на землю и, глотнув, как родниковой водицы, запах степного разнотравья, быстро пошел знакомым переулком. А у дома учителя почувствовал себя неуверенно.

Я не был у Ефимыча, наверное, с полгода, с тех пор, как он вернулся из Крыма. А сразу после Крыма он ушел из нашей школы. Потом я не раз встречал его, и всегда Борис Ефимович приглашал к себе. Я обещал, что непременно найду, но была уйма всяких дел, и я откладывал. А тут еще переезд. Конечно, Ефимычу не нужны мои оправдания, да он, верно, ни о чем и не спросит, однако, стыдно, чертовски стыдно. Выходит, я приходил к нему только тогда, когда нужно было мне. Просто бессовестно не поинтересоваться здоровьем своего учителя.

На дверях квартиры Ефимыча висел огромный амбарный замок. На косо прибитой фанерной табличке было написано: «Артельный склад».

«Что это еще за «артельный склад», — не понял я. И вдруг догадавшись, обрадовался. Ефимыч все-таки получил новую квартиру. Жаль, конечно, что я уже не встречу с ним сегодня. Завтра схожу к нему на работу. Как здорово, что учитель получил квартиру.

Я шагнул от двери и увидел спускающуюся по деревянной лестнице старушку с грязным помойным ведром в руке. Она пугливо следила за мной.

— Здравствуйте, бабушка. А где теперь Сальниковы живут? — громко спросил я.

— Сальниковы? Э, детка, далече Сальниковы. Поди, месяца два как съехали. В этот... Симферополь. Но не в город, а где-то возле. На море. Там санаторий еще. Ох, детка, забыла я.— Старушка спустилась и теперь стояла передо мной в сером вылинявшем платье с длинными широченными рукавами. Была она худа, морщиниста, на крохотной седой голове смешно торчала большущая гребенка. В слюдяных, птичьих глазках прочно покоилось огорчение, чуть, только самую малость, потревоженное любопытством.— Борис-то хворый дюже, а там ему климат полезный. И работу ему, деточка, дали в санатории, и хату семье.— Неожиданное огорчение в ее глазах размылось тихой хорошей улыбкой.— Друг у него там нашелся с войны. Вот он и помог Сальниковым. Он тут приезжал, друг этот военный. Бедовый, все хлопотал, хлопотал. Есть у нас, деточка, люди. А ты, никак, припоздал? Тут ребяток много было, провожали, пожитки грузили.

— Да, опоздал, бабушка. До свидания,— сказал я и быстро пошел. Оглянулся — старушка еще оставалась в прежней позе и, показалось, смотрела с укором.

— Ты приходи, детка, за адресом. У дочки гдесь записано. Дочки счас нет...— говорила она.

«Ефимыч уехал навсегда. А я только сегодня об этом услышал. Как же так?» — горько подумал я. Ну да, конечно, он не известил меня о своем решении. А кто я, собственно, такой? Чем я лучше остальных его учеников? Но они-то знали, что Ефимыч уезжает, день и час знали. А я — нет. Они пожали учителю руку и, наверное, сказали ему что-то очень теплое, как близкому

человеку. Учитель всегда будет помнить их. Лишь я ничего ему не сказал и не пожал руки.

И вдруг обожгла страшная мысль: «Учитель болен, безнадежно болен, и я уже никогда не увижу его...»

Я остановился: «Господи, о чем я думаю». Нет, нет... Он там, на юге, вылечится. Я еще встречу с ним. Обязательно. Однажды я поеду на море, и мы встретимся. Ведь я художник-маринист, а учитель теперь живет у моря. Как все замечательно складывается».

Я не стал ждать автобуса и пошел домой пешком. Я думал о Ефимыче и живо представлял себе далекую, через годы, встречу двух художников. Будет такой же тихий майский вечер, малиновая полоса заката над морем и шелест волн.

Да, я очень хорошо воображал себе эту встречу. Я был захвачен ею, как, должно быть, теплым ветром весенний лист. Но душа уже тянулась в другое, пока еще не известное мне, и каким-то шестым чувством я понимал, что ничего этого никогда не будет. Что порог за спиной сотрется, истает и только душа моя из новых своих далей изредка будет возвращаться к нему, но всегда, впрочем, лукаво и искренне, прощая и раскаиваясь...

Неожиданно рядом притормозил старый автобус. Скрежетнув, отворилась дверца, и я увидел старика Сурина.

— Далече собрался, сусед? Поди же, по пути нам,— крикнул он и позвал: — Давай, давай сюда.

Я неохотно шагнул в душный, пропахший бензином салон — все-таки старик порушил хорошие мысли.

Автобус вез горняков со смены. У многих были еще влажные после бани волосы, ярко чернели непромытые ресницы.

Сурин развалился на первом сиденье, перегородив деревянным протезом узкий проход.

— Клименок, Эдька, сусед мой,— прокомментировал старик. Он указал на свободное место напротив и пригласил.— Садись, Клименок, в ногах правды нет.

Я присел, поставил на колени подрамник.

— Ага, гляжу — никак сынок Анны. Чего ж тебя на Фрунзе-то занесло? Мы, похоже, с дела катим. Ребятки упряжку на руднике отбыли. И я свою отсторожевал на лесном. Ты-то ст-

куда так быстро? — допытывался Сурин, однако зыряка глазами куда-то мимо меня. И тут я сообразил — он на картину смотрел. Холстина упаковки отвернулась — видны были руки купальщицы и часть моря.

Я завернул холстину. Старик разочарованно спросил:

— Сам малевал?

— Писал, — поправил я.

Сурин тряхнул кудлатой головой, хмыкнул.

— Ишь ты, писака. Так зараз и покажи нам.

— Правда, паренек. Разреши взглянуть. Кажись море там у тебя, — высунулся из-за его спины широколицый, с клинышком медной челки на лбу, шахтер. — Не скупись...

Поколебавшись, я развязал узелок тесемки, освободил холстину. Кто-то из горняков сказал водителю:

— Володька, остановись, побачим.

Шахтеры потянулись к картине, заговорили разом:

— Эка дивчина?! Хороша!

— Молодец, парень. Море точь-в-точь.

— Художник! Ей-богу, художник.

— А я на море сроду не был...

— Тепло там. На берегу пальмы...

Картину подхватили, передали в глубь салона. Оттуда сыпала похвала. Сурин ласково прикрикивал на горняков.

— Легче, братва. Не лапай. — Потом похлопал меня по плечу. Лукаво подмигнул. — Пушай знают. Таковские мы.

Честное слово, мне была особенно приятна сейчас похвала этих незнакомых, случайных людей. Однако тревога не проходила. Картина была почти готова — оставалось несколько мазков. И вдруг почудилось, что не мне, а кому-то другому принадлежит эта картина. Кто-то другой пишет ее. «А может, подобное уже есть?» — вновь вернулся я к мучительному вопросу. Как жаль, что нет рядом Ефимыча...

Но почему нет рядом? Это ничего не значит, что Ефимыч живет от меня далеко. Я сегодня же напишу ему письмо, расскажу о замысле «Ночной купальщицы» и вышлю эскизы. Конечно, я так и сделаю. Учитель получит мое письмо и ответит мне, и больше уже никогда, никогда не прервется наша связь.

Дома, закрывшись в своей комнате, я накатал Борису Ефимовичу длинное письмо, передал разговор в Лидкиной квартире. Конечно, я не забыл о возникших у Сережки Катриша сомнениях насчет моей картины, но исподволь волновавший меня вопрос опустил. Неужели все то, что рассказал об учителе Сережка,— правда?! Нет, нет. Об этом потом... Когда-нибудь... Взрослым...

Глубокой ночью я закончил эскизы. Я нарисовал их много, но для учителя выбрал только два — удачных, на мой взгляд. А на следующий день я опять съездил на старую квартиру Сальниковых, выведал адрес и отправил толстый конверт...

Глава девятая

Летом исчез цыган-жестянщик. Он ходил по нашим улицам и отмерял время.

— Чиню ве... о... дра... астрыли.

И вот он исчез. Но жизнь в нашем городе без него, конечно, не стала сумбурной. И все-таки, когда ты перестаешь встречать человека, которого видел каждый день год за годом, что-то происходит. Я думаю, нам его не будет хватать. Но дело не в этом...

Летом я бросил заниматься футболом и начал курить. Может быть, я ходил бы на тренировки, но поменялся тренер. Новый тренер сказал, что у меня слабовата техника и игра головой. Было очень обидно. Ведь перед этим разговором мы провели контрольную игру, и я забил гол. И вот вместо похвалы слышал о себе, что плохой футболист. Я вспыхнул, грубо возразил тренеру и ушел. Потом он звал в команду, но я не захотел менять своего решения.

В августе приехала со сборов Лидка. На соревнованиях она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. У нее было много разных новостей, но рассказывала она не очень охотно, во всяком случае, не так, как раньше. Она делала какие-то странные паузы и посматривала на меня с грустной иронией. А один раз отчего-то порывисто взяла мою руку, но тотчас отпустила и нехорошо, неестественно засмеялась.

Мы сидели у нее дома, слушали пластинки, а потом вышли на улицу. Вечерело, и в городе с первой влажной прохладой запахло печеными яблоками. Я сказал ей, что бросил заниматься футболом, объяснил довольно подробно причину такого решения, надеясь, что Лидка поддержит меня — все-таки я очень переживал свой уход из команды.

— Ну и глупо,— резко ответила Лидка.— Это нужно тебе. Тренера надо слушать, а не возражать и тем более не принимать дурацких решений.

— Лидок, ты всегда была очень умная,— занервничал я.

— Эдька, вот такой ты всегда. Ты же не прав, понял? — Лидка остановилась и повернулась ко мне.— Посмотри мне в глаза и скажи: «Да, я не прав. Я исправлюсь».

— Я этого не скажу.

— Ты очень упрямый, Клименко.

— Какой есть...

И мы поссорились.

...В девятый класс я пошел в другую школу.

* * *

...— Постой, Клименко,— окликнула Гальцева.— Я совсем забыла. Ты можешь остаться сегодня после уроков?

— Допустим.— Конечно, я могу остаться после уроков, тем более, если это предлагает мне сама Ангелина Гальцева. Я с радостью останусь.

Да, в новой школе я влюбился в девчонку с красивым именем. Я был уверен, что влюбился в нее навсегда. С каким нетерпением я шагал в школу!

Однажды на уроке литературы я нарисовал карандашом ее портрет. Это был шарж. Я смешно состарил Ангелину лет на тридцать. Если бы я изобразил ее красивой, то она бы сразу поняла, в чем дело. По-моему, девчонка не должна знать, что в нее влюблен мальчишка, иначе она начнет вить из него веревочки. Пусть догадывается. Шаржем я остался доволен и послал

его с приписочкой «А. Г. от Э. К.». На перемене Гальцева шепнула: «Спасибо»...

— Сегодня заседание комитета комсомола школы. Мы тебя приглашаем. Ты не волнуйся, песочить тебя еще рановато. Просто ты хорошо рисуешь, а нам нужен серьезный художник.

Браво! Я — серьезный художник. Неужели один карандашный шарж раскрыл перед ней мои способности?

В клубе оказалось чертовски много работы. Я прихожу в клуб вечером после занятий. Вечером мне удобнее и больше шансов оставаться с Гелей вдвоем.

Мы работаем в большой комнате, в которой совсем недавно располагался духовой оркестр. Горьковатый запах духовой меди еще не успел выветриться из нее.

Я оформляю стенды, а Гальцева копается в газетах и журналах, выписывает из них все необходимое на отдельные листки. Потом согласовывает текст с кем-нибудь из начальства или не согласовывает.

У нас тема — героический путь комсомола. Очень много интересного. У Гели голова идет кругом от обилия информации.

— Верись, я уже ничего не соображаю. Трудно кого-то выделить, — сокрушается Гальцева и пальцами трет виски. — У каждого свой труд и свой подвиг. Каждый интересен по-своему. Тут и военные, и геологи, и строители, и целинники...

— И наши земляки-шахтеры, — подсказываю я, глядя на кисти старых пожелтевших городских газет.

— И наших надо не забывать. А для всех места не хватит...

Конечно, в нашей стране много героев — молодых людей. И о каждом хочется рассказать. Коротко, емко, броско. Честное слово — это сложно.

Информацию Геля читает вслух. И вот я узнаю, что комсомольцы-целинники Акмолинска уже начали готовиться к первому пятилетнему юбилею. Акмолинск... Акмолинск... Это очень далеко от нас. Точечка на карте — город целинников. Такой же легендарный, как Комсомольск-на-Амуре. Как же велика наша Родина! Акмолинск... Там тоже школы и такие же ребята, как мы, возможно, готовят свой клуб старшеклассников. В большой

бывшей комнате духового оркестра мальчик и девочка оформляют стенды. Приятно об этом думать.

— Эдик, ты любишь стихи Асадова? — спрашивает Геля, однако хитренько усмехаясь. Я ее понимаю. Она уверена, что я не читал стихов Эдуарда Асадова. Она ждет. Но как можно не любить стихи Асадова? Я их часто слушаю по радио. Это же наш поэт!

Я бросаю в баночку кисть. Многозначительно, молча делаю два шага в сторону и громко, разумеется, паясничая, говорю:

— Асадов. Стихи о рыжей собаке. Читает тезка. Это я то есть.

Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

— Прощай, брат. Хоть жаль мне, не скрою,

Но все же тебя я покину...

И так я дочитываю до конца. Декламатор, откровенно говоря, из меня никуда не годится, но не в этом дело. Геля хлопает в ладоши. Слава богу, она убедилась, что Клименко знаком с поэзией Эдуарда Асадова. Она говорит:

— Ты растешь, Клименко, в моих глазах. Нет слов.— Она заламывает руки, и лицо ее покрывает легкий румянец.— Но я тебе все-таки почитаю стихи другие, ладно? Правда, ты у меня отобрал инициативу, но мне очень хочется почитать стихи. Только, пожалуйста, не смотри на меня в упор, а то я буду сбиваться.— И Геля начинает с чувством...

Она читает стихи о любви. Чудесную лирику Асадова, и меня охватывает сильное волнение, и оно долго не проходит... Помоему, все дни состоят из этого волнения. А когда оно есть, когда оно в тебе и рядом с тобою, на свете очень хорошо жить.

А иногда мы убегаем из клуба в кино. Просто очень устаем и убегаем в кино на последний сеанс. В зале гаснет свет, и я беру Гелин горячий кулачок в свою ладонь и не отпускаю до конца фильма...

Теперь каждый вечер я провожал Ангелину домой, и мы болтали о школе, учителях и уроках, классных проделках. Но чаще всего о спорте, много о спорте, и тут вот в чем дело.

Из всех видов спорта Ангелина признавала только художественную гимнастику, хотя сама ею не занималась. Год назад она закончила музыкальную школу по классу фортепиано и частенько подменяла свою маму, которая аккомпанировала гимнасткам. Всякий раз после такого занятия Геля приносила мне свежую новость: «Эммочка Глазкова поедет на Россию», или «Приезжал тренер из области. Наши девчонки ему понравились, но с методикой Анны Сергеевны он не согласен». Если кто-нибудь из ее подружек-гимнасток добивался успеха на соревнованиях, Геля так радовалась, так сумасшедше-счастливо блестяли ее глаза, как будто это была ее нелегкая победа. И всегда болезненно переживала неудачи подруг, была скучна, неразговорчива.

К футболу Геля относилась равнодушно. Что ей были мои рассказы о блестящих проходах к воротам лучших нападающих местной команды, о мастерских прострельных передачах правого края Виктора Козина, который когда-то тоже жил на улице Красных Зорь неподалеку от меня, чем я немало гордился. О «вратаре-кошке» Степе Кривошапко, умевшем намертво взять «девятку». Где-нибудь в тихой, безлюдной улочке я будто бы нечаянно поддевал носком консервную банку и лупил в ближайшую подворотню. Я отчаянно вызывал Гелю на спор, доказывая, что футбол выше всяких других видов спорта, гимнастики, например, потому что требует не только силы, ловкости и мастерства, но и ума. Ангелина молчала. «О чем она думает? О девчонках из гимнастической секции? О своей музыке? Впрочем, какая разница, о чем она может мечтать, главное — плевать ей на футбол», — досадовал я и в который уже раз давал себе слово не говорить с ней больше о футболе.

И все-таки говорил. Однажды я рассказал ей о недавнем чемпионате мира в Швеции — феноменальном успехе на нем бразильцев, впервые завоевавших футбольную богиню. Я здорово, в деталях рассказывал, и вдруг Ангелина перебила меня вопросом:

— Эдик, а почему ты сам не занимаешься футболом? Ты, я слышала, играл?

А вдруг она знает о моих неладах с тренером? Или подумает еще, что Клименко был балластом в команде?

— Откуда время, Гель? Все вечера заняты в клубе. Вторая смена в школе такая неудобная. Еле-еле уроки успеваю.— Я прознее это довольно спокойно, хотя было страшно обидно. Разумеется, я не убедил ее, но хоть не оправдывался. Но чувство неудовлетворенности ответом я еще хранил долго и всякий раз, вспоминая об этом разговоре, сожалел, что не объяснил ей всю правду. Удивительное дело, человек боится говорить правду о себе и страдает потом... Впрочем, из-за этого футбола у нас с Гелей и первая серьезная ссора произошла.

В выходной день мы договорились пойти в кино. Я собрался за билетами, но тут вспомнил, что на стадионе наша городская команда играет последний матч сезона. Об этом уже неделю кричали расклеенные всюду афиши. Я решил, что фильм мы еще успеем посмотреть, а вот ответственный матч, в котором определится призер,— нет. Правильно, по-моему, решил. Я так и объяснил Геле и даже показал билеты с хорошими местами в центре западной трибуны. Она так удивилась, словно я предложил ей срочное путешествие куда-нибудь на Канарские острова. И вдруг звонко рассмеялась.

— Я?! На футбол?! Как ты мог такое придумать! Неужели не понимаешь, Клименко, что это просто глупо. Где ты видел девочек на футболе?

— А мы ходили с Лидкой Степанковой, я тебе как-то говорил о ней, и ничего,— неожиданно брякнул я, и в следующую секунду глаза Гальцевой сузились — в них погас всегдашний прелестный огонек.

— Ну и ходи куда хочешь со своей Лидкой.

Она резко повернулась и быстро пошла от меня.

Я постоял немного, глядя, как она пересекает улицу и, не испытывая, впрочем, обиды, отправился на стадион. А через некоторое время, забыв обо всем на свете, подпрыгивая на жестких жердочках скамейки, я следил за футбольным поединком. Только один раз пронеслось в голове: «Если бы она мне очень нравилась, я бы все-таки сидел сейчас в кинотеатре».

Потом мы быстро помирились, но вскоре опять поссорились из-за какого-то пустяка. Ничего, конечно, хорошего в том, что мы часто ссорились, нет. Но вон и в фильмах юноши с девушками

обязательно часто ссорились вначале, зато в конце у них всегда возникала настоящая любовь. А вдруг у нас тоже возникнет большая любовь! Во всяком случае, каждый из нас имеет свое мнение и не собирается кого-то приручать, делать послушной, бегающей следом собачонкой.

Однако всегда после ссоры с Гальцевой я думал о Лидке. И тогда мне немедленно хотелось видеть ее. Исповедоваться, что ли? Но станет ли она выслушивать мою исповедь? Да, мы когда-то жили в одном доме. Что из этого. Теперь его нет. Мы разъехались в разные стороны, и у каждого своя жизнь.

После той нашей размолвки со Степанковой из-за футбола (прямо какое-то наказание с ним) я еще приходил к Лидке. Мы слушали пластинки и гуляли. Но потом все куда-то стремительно понеслось. Захватила школа, и в ее буднях наши встречи затерялись, а когда возникла Гальцева, истратились вовсе. Значит, кончилась инерция старой жизни, все ушло, и у Лидки, должно быть, появился свой интерес. Какое мне дело? Что же, все правильно. Очевидно, так устроена жизнь, что наступает момент, когда ты оказываешься перед выбором новых друзей, а те, другие, становятся твоей хорошей памятью. Лидка теперь далеко от меня. Но когда я думаю о том, что Лидка далеко от меня, отчего-то щемит сердце.

Однако Лидку я вижу довольно часто. Я встречаю ее в нашем районе, почти всегда в одно время — в седьмом часу, не задумываясь о том, что за дела у нее здесь. Чаще она стоит на углу переулка Матросова и улицы Антрацитовой — место неудобное, толкучее, потому что с одной и с другой стороны мелким шагом тянутся магазинчики и лотки, а в час пик всегда тут кипит народ. Это маршрут, которым я хожу в школу и на свидание с Гелей. Из школы я редко возвращаюсь один, обычно с оравой. Иногда Лидка оказывается на противоположной стороне улицы. Я приветственно поднимаю руку, а она ответно кивает головой и улыбается. А иногда я вижу только ее удаляющуюся спину. Ребята, конечно, спрашивали, что за девчонка. И я объяснял, что это моя соседка по старой квартире. «Между прочим, она кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике», — хвастался я. И может быть, этих случайных встреч было

и достаточно, чтобы не забывать, что на свете есть Лидка Степанкова — мой верный товарищ.

Я заметил — она стала хорошо одеваться. На ней модный короткий плащ темно-синего цвета, голубой газовый шарфик и туфли на каблуке. Впрочем, я тоже модно одевался. На мне коричневая на золоченых молниях куртка, узкие брючки и туфли на толстой «микропоре». Это все мама. Она вдруг решила, что мне надо хорошо одеваться. Благо теперь появилась возможность. Из горно-технического училища мама перешла работать в бухгалтерию шахты. Оклад тут был выше, и мы потихоньку начали выбираться из нужды. Я считал, что она наряжает меня из благодарности за мои пятерки. Но только ли из благодарности?..

* * *

Тихо и незаметно отполыхало бабье лето, и с легкой голубой глазурью первых заморозков в городе начался обильный листопад. Знобкими вечерами улицы обволакивают клейкие дымы поздних костров, и горько, до тошноты, пахнет паленой листвой.

В сумерках в городе еще людно, но жизнь уже привяла, уже поворачивает к зиме, и ранний свет в окнах домов неудержимо манит ласковым теплом.

В один из таких вечеров, возвращаясь из школы, я встречаю Лидку. Я неожиданно сталкиваюсь с нею на углу, так что ни ей, ни мне некуда деться.

— Привет, Лидок,— говорю я и подаю руку. Ребята, конечно, отходят в сторону.

— Здравствуй, Эдик.— У Лидки в правой руке сверток. Она перекладывает его и прикасается к моей ладони. Она, как прежде, смотрит мне в глаза чуть испуганно.— Чудеса! Я только о тебе подумала, и вот он — ты. Ну как жизнь, как успехи?

— Жизнь?..— Я делаю кислую физиономию.— Не то чтобы очень, Лид, но, по-моему, жить можно.— Я встряхиваю портфелем.— Вот, грызем науки, зарабатываем себе счастливое будущее. Знаешь, Лидок, в новой школе борьба с лоботрясами по-

ставлена на соответствующую высоту. Приходится постоянно держать себя в форме. Это вообще сложно.

— Эдька, ты все такой же хвастунишка,— смеется Лидка. Я и сам знаю, что это есть у меня, но когда тебе напоминают, немножко обидно. У меня проходит желание шутить, и я серьезно спрашиваю:

— Как там дядя Костя?

— Ой, Эдик. Я его только в воскресенье и вижу. Все время на своем заводе. До ночи сидит в цехе. Одни срочные заказы. Ты бы на него посмотрел. Так похудел.

— Привет ему передавай. А ты-то почему не заходишь? Мама интересуется, как вы там?

Насчет того, что Степанковыми интересуется мама, я неожиданно соврал. У Лидки вспыхивают глаза, но тотчас тускнеют.

— Ты тоже к нам не приходишь. Но я догадываюсь, почему. Тебе теперь некогда,— лукаво говорит она. Я понял, Лидка имеет в виду мою дружбу с Гальцевой. Конечно, она знает. Откровенно говоря, мне не очень нравится наш разговор.

— Лид, а что ты тут делаешь?

— Да так...— Лидке явно не хочется отвечать — это меня задевает.

— Я не первый раз вижу тебя здесь.

— Мало ли какая причина.— Лидка кокетничает — это ей совсем не идет. «По-моему, глупо назначать свидание у черта на куличках», — быстро соображаю я.

— Слушай, Эдик, ты не мог бы занести это Сурину,— серьезно Лидка и протягивает мне сверток.— Тут мама испекла пирожки. Яков Иванович, наверное, будет поминать завтра Варвару Тимофеевну. Пятнадцать лет прошло, как она погибла. Мама тот день на всю жизнь запомнила. Так бомбили. Фашистов из города уже прогнали, а самолеты их налетали. Да ты об этом знаешь.

— Знаю, конечно.

Я беру сверток. Конечно, мне не трудно передать Якову Ивановичу пирожки от Степанковых. Но почему Лидка не может пройтись к нему? Ясное дело, на свидание опаздывает. Впрочем, какое мне дело.

— Пойдем вместе к Сурину, — на всякий случай предлагаю я.

— Эдик, я сейчас не могу. Ну пожалуйста, передай, а?

— Усек! У тебя сегодня встреча с интересными людьми. — Я корчу из себя бывалого. Я наклоняюсь к ее уху и покровительственным тоном диктую.

— Ты приходи к нему позже. Вовремя нельзя, так можно распустить нашего брата.

— Иди, Эдик, тебя ждут мальчишки, — резко отстраняет меня Лидка. — Иди, пожалуйста.

Я делаю шаг к ребятам. Лидкин вопрос догоняет меня.

— Как поживает «Ночная купальщица»?

— Великие шедевры создавались годами. Подождем.

— Хорошо. Желаю успеха. — Лидка поворачивается и идет от нас быстрым шагом.

Я смотрю ей вслед и тревожно думаю: «Интересно бы взглянуть на ее парня. Она так ничего и не сказала о нем. А почему она должна говорить мне?»

...Сурин оказался дома. Старик отворил дверь, увидел меня и крикнул от удивления.

— Клименко, суседушка. Эхма, — проговорил он сиплым голосом и, не дав открыть мне рта, тотчас втащил в коридор, ворчливо заметил: — Негоже, братушка, через порог здороваться.

Сурин, очевидно, был болен — горло обвивала серая тряпича. Он сильно изменился за этот год. Куда делась его крупнота, мощь. Он будто усох. А может, он и был таким раньше — год, два назад, а изменился я, мой взгляд на него? Впрочем, когда я последний раз видел старика так близко? Давно. Неужели и тогда лицо его было так густо иссечено морщинами и так сумеречно блестели глаза?

Я подал ему сверток и сказал, что это пирожки от Степанковых. Старик ничего не понял. Он смотрел то на меня, то на сверток с каким-то детским глуповатым изумлением.

— Завтра вашей Варваре Тимофеевне... Ну, в общем, пятнадцать лет с того дня, — неожиданно разволновавшись, начал объяснять я, но старик уже сообразил, кивнул головой.

— Да-да. Завтра и будет. Не забыли, поди, люди, — пробормо-

метал он радостно и засуетился, мелко обстукивая протезом пол.— Счас, суседушка, повечеряем. Чайку польем зараз с этими пирожками. Как мамка твоя, не хворает?

— Нет, здорова.

— Ну и слава богу. А я малость остудился. Хвороба в поясницу вошла, а нонче с утра горло одолело. Поди, рашпилим в нем продрали.— Сурин говорил, а сам тихонько выталкивал меня из коридора внутрь квартиры.— Степанковы передали. Эхма... Костя там как? Лидушка?

— По-моему нормально. Дядя Костя много работает, похудел,— ответил я и остановился — дальше ни шагу.— Спешу я. Вы извините.

— А как же, сосед, чайку? — Старик горестно развел руками.— Зараз скипит чаек-то.

— Спешу я. Извините,— повторил я, и голос у меня задрожал.

— Нонче все спешат. А куда, одному богу известно. Ты-то молодой, а то, поди, и старые бегут.— Сурин шагнул к двери, решительно открыл передо мной дверь. Конечно, он обиделся. Мне стало стыдно.

— До свиданья,— выдохнул я.

— Заходи как-нибудь. Не гребуй стариком,— огорченно сказал Сурин и вдруг спросил: — Сколько годков-то тебе?

— Шестнадцать скоро.

— А Федюшке моему семнадцать исполнилось, когда война началась...

Я не слышал, как Сурин затворил дверь,— последние его слова поглотили все звуки. Они, кажется, отражались от стен и лестничных перекрытий усиливающимся эхом, являя собой страшную суть: «А Федюшке моему семнадцать исполнилось, когда война началась...»

Я побежал вверх по лестнице, и слова погнались за мной.

Я остановился. Замер. Облокотился на перила и сполз на ступеньки.

Что же это такое получается — старый, больной человек остался один в квартире, один на один с обострившимся горем? Конечно, у меня есть дела, но если подумать хорошенько, раз-

ве они стоят сейчас страданий старика? Он будет вспоминать сына и жену и плакать. Не зря же он сказал: «А Федюшке моему семнадцать исполнилось, когда война началась...» Разбередил старику рану и ушел. Заладил как попугай: «Спешу, спешу». Попил бы с ним чайку — все равно ведь буду дома ужинать. Послушал бы старика. Чего вредничал-то? Надо вернуться.

Я встал, спустился вниз на несколько ступенек и вновь сел. Что подумает обо мне Сурин? Трепло, мол, нет у него никаких срочных дел. Просто «погребовал суседушка» и вот явился: «Здрасьте». Выходит, сжалился.

Да, он подумает именно так. Из жалости вернулся сосед. А жалость только унизит его. Другое дело, если бы старик почувствовал, что я из сострадания, из понимания его горя пришел. Тогда, значит, и не уходил бы.

А то ушел. Как ему объяснишь, что не из жалости вернулся. И вообще, где граница между жалостью и состраданием? Как во всем этом разобраться?

В подъезде хлопнула входная дверь, я вскочил, и тотчас передо мной возникли двое мужчин — какие-то помятые, с синеватыми лицами. Маленький и большой. У большого очень хмельные заплавленные глазки. Мужчины были одеты в черные, изрядно замусоленные пальто. На голове большого — кепочка-разноклинка, а на маленьком — приплюснутая кожаная шапка с обрезанными ушами.

— Эй, пацан, где тут Яшка проживает? — с нагловатым напором спросил большой.

— Нет у нас никакого Яшки. — Я, конечно, понял, что они Сурина спрашивают и соврал с совершенно определенной целью. — Не проживает тут ваш Яшка.

— Ну да, — крикнул маленький. — Ты что, Яшку Сурина не знаешь?

— Нет тут такого. Не живет. Вам же ясно сказано.

Я повернулся и равнодушно зашагал по лестнице. Двое совещались за спиной — они меня раздражали. Опять пришли к Сурина выпить.

Я обогнул лестницу, сказал:

— Чего митинговать?! Не живет у нас Яшка Сурин. Шли бы вы отсюда, граждане.

— У тебя не спросились, молокосос, что нам делать,— вспылал большой.— Гляди, а то ненароком насморк заработаешь.

— Насморк? Уморили,— расхохотался я. Честное слово, мне было совершенно не страшно.— Гуляйте, гуляйте. Видел я таких.

Большой рванулся ко мне, но маленький придержал его за рукав:

— Не связывайся, Сашко. Паралитик какой-то. Пойдем в другое место. Петька что-то напутал...

Мужчины, грязно ругаясь, вышли. Стало тихо. У меня чуть отлегло от души. Я подумал: «Правильно сделал, что выгнал забулдыг из подъезда. Каково старику видеть сейчас эти морды? Им-то что? Им наплевать...»

Я отворил дверь, на стук отозвалась мама.

— Сынок, ты? Тебе там письмо.

Письмо лежало на тумбочке у входа. Я схватил конверт — от Ефимыча! Сбросил туфли и, не раздеваясь, помчался к себе. Плотно закрыл за собой дверь.

«Здравствуй Эдуард!

Не сетуй на меня, дружище, не по своей вине я задержал с ответом. Дело в том, что летние месяцы я провел в лечебнице в Киеве, а твое письмо ждало меня в общей почте для отдыхающих, потом еще под сукном у директора. Но теперь оно передо мной и хорошие твои рисунки тоже. Как мое здоровье? Сейчас гораздо лучше, но о полном выздоровлении говорить еще рано. Очень рад, что с учебой у тебя все в порядке. Это главное.

Да, поставил ты передо мной задачу — имеет ли ценность твоя картина в наше, как ты говоришь, «столь стремительное, наполненное грандиозными событиями время»? Я думаю, что Сережка Катриш погорячился, так резко осудив твою работу. «Кому она нужна», — как он выразился — это не разговор. Я помню Сережку, его всегда отличала некоторая категоричность суждений. Твоя «Ночная купальщица» — это прежде всего

работа, плод воображения художника, его чувств. Другое дело, как она выполнена. Ты понимаешь, о чем я? Конечно, по присланным рисункам я не могу судить о полотне в целом. Разве что о сюжете, замысле. На мой взгляд, сюжет твоей картины интересен уже тем, что его породила твоя юношеская фантазия. Но пойми меня правильно, в твоём возрасте неизбежны повторы — ты пока учишься и учиться ещё будешь долго. Видел ли ты репродукции французских импрессионистов Моне, Ренуара, Дега? Их сейчас маленько ругают. Но вещи, право, заслуживают внимания. Тут есть чему поучиться. (Кстати, у Ренуара есть серия своих «купальщиц».) У кого, как не у больших мастеров, нам учиться? Но уже сейчас советую глубже, серьезнее продумывать сюжет, не бросаться к мольберту тотчас от взволновавшего воображения. Одним порывом написать картину сложно.

Это замечательно, дружище, что твоя работа всколыхнула в тебе лучшие чувства, возвысила твое земное бытие. Как ты пишешь, что в «Купальщице» слышишь вечную музыку моря, и тебе «чудится танец». Верно, Эдуард, в живом слиянии человеческой красоты и красоты природы вечная гармония мира. Ты пытаешься постичь ее. Ты ищешь идеал, а разве возможен такой поиск без сотворения добра? Нет, невозможен. Значит, душа твоя открыта добру. Вот и посуди сам, имеет ли ценность твоя «Ночная купальщица».

Однако некоторые детали в письме меня насторожили. Мало пишешь. Тебя отвлекают какие-то дела. Ты не находишь времени для мольберта. А как же тогда быть? Если ты серьезно хочешь посвятить себя живописи, непременно организуй свой труд. Без поблажек. Всегда. И ни в коем случае нельзя ограничиться одним сюжетом. (В данном случае «Купальщицей».) А работа с натурой? Этюды? Не думай, что всем этим ты еще успеешь позаниматься в художественном училище, в которое стремишься. Настоящий художник не имеет права держать в обойме один патрон. Я не против того, что ты мечтаешь стать художником-маринистом: «писать и писать море». Но ведь ты живешь не на голом острове. И, слава богу, не одинок. Вокруг страна, люди. Близкие тебе и совсем чужие. Посмотри на них повнимательнее. Если задуматься: каждый человек — это такое море! А они не

вечны — люди, окружающие нас. Мне посчастливилось встретить в жизни замечательных, мужественных людей. И на фронте и позже. Многих из них уже нет. Но слава богу, остались (чудом уцелели!) рисунки. Я обращаюсь к ним, к памяти своей... И какая, должно быть, благодарная работа — оставить о людях память. Подумай об этом.

И еще. Обязательно ставь в картине последний мазок. Не предавай себя, тот образ, над которым ты работал, даже если почувствовал «что-то не то».

Вот, пожалуй, и все. Удачи тебе, дружище! Не казись, что не проводил учителя. Главное, что ты помнишь обо мне. И приезжай на каникулах, отдохнешь у нас. Сходим в гости к Айвазовскому.

А признаться, болит душа по нашему шахтерскому городу. Скучаю по землякам, с которыми в забое уголек рубил, и каждый раз, такой вот осенью, тянет в школу. Должно быть, наш завхоз Федор Семенович печки уже протапливает. Ну ничего. Еще маленько подлечусь и попробую вернуться к учительству.

Пиши, дружище. Присылай рисунки, а за эти спасибо.

Крепко жму руку.

Твой Борис Сальников».

Я перечитал письмо дважды на одном дыхании и тотчас невольно потянулся к картине.

Я снял холст с шифоньера, устроил его на спинке стула у окна, сел напротив и задумался. Вот у Ренуара, оказывается, есть серия своих «купальщиц», а что я знаю об этом художнике? Да нет же, не видел я репродукций импрессионистов. Конечно, я завтра же помчусь в библиотеку — какие они, «купальщицы» Ренуара?.. Чертовски досадно все-таки...

И вдруг изображение на картине смазалось, купальщица исчезла, и перед моим взором возникла большая кудлатая голова, живой с хитринкой взгляд. И я отчетливо услышал голос Сурина:

— А Федюшке моему семнадцать исполнилось, когда война началась...

Глава десятая

После ноябрьских праздников неожиданно-негаданно приехал отец...

Город уже насквозь продувают порывистые ветры с ледяной моросью и крупой, и в омертвевших улицах истлевают в неумолимой скуке дни.

Отец заглянул к нам проездом в командировку. Я пришел из школы и еще в коридоре почуял запах табачного дыма. Из гостиной донесился мужской голос. Я прислушался, и меня охватило волнение — голос отца я мог бы выделить из тысячи других.

...В доме на улице Красных Зорь женщины считали маму самой счастливой. Муж, дескать, достался «тверезый», красивый да статный, до работы горячий и характером «мягок». На войне за чужие спины не прятался — на флотском кителе орденов и медалей на троих хватит. За таким, как за каменной стеной — ни печали, ни горя не узнаешь. И мама тоже думала, что повезло. Счастья своего не прятала, а беда пришла, так ее разве утаишь от людей? В старом дворе все на виду были как на ладони. Потом, когда отец ушел от нас, бабушка Вера предположила, что у кого-то в нашем доме дурной глаз. Может быть, у старой Бакланихи, потому что всю жизнь одинокая, и глаз у нее черный, «як у ворона», и вообще, мол, какая-то нелюдимая. Мама, грустно улыбаясь, возражала: «Глупости. Какая Бакланиха? Старушка — божий одуванчик. Чего людей-то сюда путать? Другую полюбил Павел. И весь тут сказ».

Посиделки у нас стали каждый вечер по твердому расписанию. Мама от них страшно уставала. Но люди шли с советом и желали помочь всем миром, истинная правда.

Они усаживались в кружок на лавочках-мелковушках, лузгали семечки и судачили от души про девицу-разлучницу. Только ее они считали откровенно виновной, и никто не хотел понимать, что Павел, отец мой, просто взял и полюбил ее и решил начать новую жизнь. Для женщин нашего двора было ужасно слышать о какой-то любви семейного мужчины к девушке. Они предпочитали видеть в этом житейский расчет с ее стороны —

«мужик, поди, не пьющий, при зароботке» — и блажь, распутство с его. Соседки не стеснялись в выражении чувств, разлучницу поливали крепкими словечками, от которых я краснел и прятался в соседнюю комнату. Но и там эти словечки меня доставали.

— Ты, Анна, или святая или совсем глупая, — поражалась материному спокойствию долговязая вдова Киреева из 4-й квартиры. — Он же, кобель проклятый, семью рушит, а ты молчишь, потакаешь да горе в себе носишь.

— Эх ты, курица мокрая, — горячась, подхватывала бабка Нюся. — Выцарапала б ей глаза. Мужика такого заграбастала. А боишься, так меня возьми в помощь. Я б ей показала, стерве.

— Нет, так нельзя. Нехорошо это. Насильно мил не будешь. Любит он ее, любит. Вы на него посмотрите, извелся-то как, — твердила свое мама.

Конечно, маме очень сочувствовали, а меня жалели, как сироту. Кто-то между делом обнимет, по голове, вздыхая, погладит, кто-то конфету даст. Взрослым кажется, что они поступают правильно. Если б они знали, что не было для меня ничего хуже их жалости.

А некоторое время спустя женщины уже советовали маме как можно быстрее выйти замуж — «клин клином вышибают». Досужая бабушка Вера даже присмотрела ей жениха. Мама отшучивалась: «Сына скоро женить буду, а вы меня выдавать собираетесь. — Серьезнела. — Семейной жизнью пожила. Лучшего все равно не будет. А забот и о сыне на мой век хватит».

После ухода отца мы редко говорили о нем. Мама щадила меня. Но память об отце, конечно, всегда жила с ней — плохое на доньшке, доброе сверху, чтобы быстрее достать. Маме дай только повод вспомнить об отце: перво-наперво будет рассказывать, как отец приехал к ней в деревню свататься, да адресом ошибся. «Это ж надо такое, попал в другой дом, а там тоже девушка на выданье. Отец ее растерялся, что ж, дескать, дочка не сказала, мы б как следует подготовились. А та Павла не видит, да про своего думает, из спаленки кричит: «Пошто я знала, тятя». А когда разобрались, смеху-то было... Ну а свадьба?! Свадьба, сынок, была... Всем хутором гуляли. «Горько» крича-

ли, под гармошку плясали. Только все как-то наскоро. И уехали мы сразу в город. Папе от шахты квартиру дали в бараке на Зорях. Две комнатухи. Радовались своему углу. Мебель купили — никелированную кровать и стол. А через несколько месяцев война... Папу позже призвали, броня у него была...»

И еще она любит вспоминать, как отец с флота демобилизовался. Впрочем, не только мама, но и соседи по дому отлично помнят тот день. А было это в сорок седьмом, осенью, когда по городу шастала нужда, и в нашем дворе под вечер уныло поскрипывали ручные мельницы — жильцы перетирали кукурузные зерна. Из муки потом варили липкую мамалыгу. И вот в воротах появился отец.

— Здорово, громодяне. Что у вас тут так тихо? Помирать собрались, черти? — пробасил он и скомандовал: — А ну, свистать всех наверх!

Двор ожил. Под абрикосом поставили стол. Отец вывалил на него содержимое рюкзака. Тетя Клава всплеснула руками, увидев гору консервных банок, воскликнула:

— Господи, с ума сошел Пашка, целое ведь богатство.

В материных рассказах отец всегда шумный, непоседливый человек, весельчак и душа компании. Достоинства это или недостатки, я еще не разобрался. Но я почему-то не могу представить отца веселым человеком. В памяти моей совсем другое его лицо.

...Он стоял предо мной, положив руки мне на плечи и легонько пожимая их. Я не узнавал папку — лицо землисто-желтое, какое-то иссохшее, без кровинки, на лбу глубокие бороздки морщин, а глаза, лишенные всегдашней улыбки, и оттого словно погасшие, были чужими. Как будто глодала его страшная болезнь. А может, то и была болезнь. Он уходил от нас и пытался объяснить мне причину своего решения. Лучше бы он ничего не объяснял. Я и так был издерган. Я плохо спал ночи накануне и возненавидел сны, в которых мы с отцом все время ехали к морю, — он обещал мне показать море. А днем я не мог переносить тишины в квартире — отец с матерью передвигались по комнате с величайшей осторожностью, бесшумно, точно тени. Ночами, когда отец не приходил, мама плакала. И я мечтал об

одном — ее улыбке. Потом он являлся, и начиналась мучительная игра в молчанку... И вот я слышал его сбивчивый полусшепот:

— Ты уже взрослый... Ты должен понять папу — жизнь, сынок, сложна... Вот вырастешь...

Я плохо соображал, о чем он говорил, потому что думал о маме. Она едва держалась на ногах. «Да никакой я не взрослый! И вырасту не скоро», — собирался возразить я, но так и не посмел.

Он о чем-то спрашивал, но ответа не ждал, тотчас говорил сам. Нет, ничего он не лгал. Я бы сразу почувствовал его ложь.

— Папочка, не уходи от нас, пожалуйста, — все-таки попросил я. Но отец промолчал, только погладил меня по волосам, по щеке горячей, сухой ладонью.

А ночью у меня болело сердце. Впервые очень болело.

Большой, сильный человек, разве он не мог справиться с собой? Его понимала мама и даже в чем-то ему сочувствовала. Но я не мог ни понять, ни простить, потому что он — отец, и место его — рядом. Как нелеп был тогда затеянный им разговор! Он так торопился с моим прощанием, как будто в новой жизни своей не смог бы обойтись без него.

...Я подошел к двери гостиной. Сейчас я должен сказать: «Здравствуй, папа». Папа? Я отвык от этого слова. К горлу подступил тяжелый ком.

В дверях возникла мама.

— Эдик?! — удивилась она. — Я и не услышала, как ты вошел. — Она взяла меня за локоть и радостно зашептала: — Ты знаешь, кто у нас?

— Знаю, — ответил я и грубо выдернул руку. Чему она радуется? Приехал, ну и что? Вырядилась.

Она была в новом шерстяном платье, которое сшила недавно — под праздник. Я вдруг вспомнил, сколько оно доставило ей огорчений. После каждой примерки она приходила расстроенная, жаловалась мне, что у портнихи нет вкуса, что ткань испорчена и опять надо думать о выходном платье. Наконец я увидел ее в нем. «Какая красивая у меня мама», — подумал я тогда, а ей

сказал: «Нормальное платье. Ты зря переживала». Но мама мне не поверила — все выискивала перед зеркалом дефекты, хмурилась. И только когда подруги в один голос воскликнули: «Сидит, Аннушка, просто чудо!» — мама повеселела, даже покружилась по комнате в вальсе.

Приезд отца застал маму врасплох, и прихоращивалась она наскоро. Пудра укрывала румянец щек неровно — выступала белыми островками, особенно у носа. Алая помада жирно измазала губы.

Мамина гордость — густые золотистые волосы — были свернуты громадным кулем на затылке, обнажив тонкую шею, и голова получилась большой и круглой, точно глобус. Мама, должно быть, очень хотела показаться перед ним красивой и независимой, но ничего из этого не вышло — куда денешься от забот, от возраста. Пожалуй, платье только и скрашивало в ней будничность.

Нет, мама не обиделась. Она улыбалась мне заискивающе, покорно. «Не злись, сынок. Отец ведь приехал. Подумай обо мне», — просили ее глаза. Да, я должен предстать перед ним таким послушным, серьезным юношей. Я должен изображать радость счастливого сыночка. Он может заявиться когда угодно, хоть через сто лет, не задумываясь о том, как мне было без него, а я обязан его встречать, слушать, жалеть. Обязан только потому, что он отец?! Но я не умею притворяться. И вряд ли рада мама — так, жалкое подобие радости на ее лице, какая-то игра в радость. Зачем это ей, если между ними уже все кончено?

Я, наверное, понимал тогда маму и мог бы не так открыто показывать свою обиду. Но это платье меня взбесило. Меньше всего хотелось, чтобы мама красовалась перед ним. Я подумал черт знает о чем — уж не собиралась ли она вернуть отца?..

— Ну чего ты вырядилась? Больше надеть нечего? — проворчал я.

Мама приложила палец к губам — тише, мол. Что-то новое открылось в ней — в том, как она молитвенно задержала на груди руки, ловя каждое мое движение, во взгляде, полном какой-то пугливой ласки. Потом я понял, что то было чисто материнское

изумление перед сыновьей взрослостью. Как нужны ей были слова, какие-нибудь совсем пустяковые, для того, кто был там, в комнате, чтобы совладать со своим стеснением. Но она не нашла их. И вдруг решительно, цепко, схватив меня за руку, вытащила в гостиную.

— Вот он, Павел, полюбуйся на свое чадо,— сказала она и застыла, не справляясь с волнением.

Отец сделал движение корпусом, но не поднялся. В глазах заиграли жадные лучики. Он сидел, откинувшись на спинку стула, почти игрушечного под его тяжелым тучным телом, нервно ворошил черную прядь волос. Ему надо было встать сразу, шагнуть мне навстречу, но он замешкался, и момент был утерян. Я поздоровался и вдруг почувствовал, что не знаю куда деть руки. Сунул в карманы, вытащил.

— Ну здравствуй, Эдуард,— сказал отец и встал. Он обнял меня и поцеловал в щеку. Давним, подзабытым, очень родным запахом повеяло от него. В груди ворохнулась радость — это мой отец!

Он не отпуская, крепко держал за плечи, а мне было отчего-то стыдно смотреть ему в глаза. Я уставился в его выбритый до синевы подбородок, в крупный полосатый узел галстука и с нетерпением ожидал конца необходимой церемонии.

— Павел, Эдик-то догнал тебя. Такой же длиннючий,— сладко говорит за моей спиной мама.

— В нашу породу пошел,— соглашается отец.— Иван Семенович, дед твой, сынок, двухметрового роста был. Каланча! Ты-то помнишь его, Аня?

— Смутно. Я ж его один раз всего видела, как перед войной ездили... Возил ты меня своим напоказ.

— Сильный был человек. Хуторской кузнец! Гражданскую прошел, в эту войну партизанил. Сколько контузий да ранений перенес. А умер глупо — от пустякового нарыва. Мог бы еще жить.

— Гляжу я на вас, ребята, ну до чего ж вы похожи. Родственнички.

«Она еще шутит»,— подумал я, обижаясь на маму. И вдруг сказал:

— Я есть хочу.

— Правильно, сын, соловья баснями не кормят,— бодро поддержал меня отец.— Накрывай, мать, на стол. Корми мужчину.

— Сейчас будем ужинать. Мы же тебя ждали, сынок. Иди, мой руки.

Когда я вернулся из ванной, отец выкладывал из чемодана на стол содержимое — бутылку вина, две баночки икры, большую цветастую коробку конфет. Спросил:

— Как учишься, Эдуард?

— Нормально,— ответил я и подумал. «Неужели мама ему не сообщила, как я учусь?»

— Ты бы отцу дневник показал,— крикнула из кухни мама.— Павел, у него все пятерки. Все до одной.

— Мам, а хвастаться нехорошо.

Мама вошла в комнату с тарелками в руках.

— Когда есть чем хвастаться, не грех.

— Все-таки нехорошо,— повторил я.

— Не упрямясь, доставай дневник.

— Ну, что ты, Аня. Я верю, что мой сын — отличник.

«Мой сын»,— усмехнулся я.

Отец закурил. Я пошел следом за матерью на кухню. Мама шепнула:

— Не оставляй папку одного. Неудобно. Поговори с ним о чем-нибудь. Покажи свои картины.

— Не буду я ему ничего показывать. Когда он уедет?

— Завтра уедет, успокойся.

— Только ты не лебези перед ним. Я тебя прошу.

— Ты мне не указывай, как себя вести,— рассердилась мать.

За столом отец разлил по рюмкам вино, мне тоже. Бино я пил единственный раз в жизни, когда еще дружил с Катришем. Мы получили свидетельства за семилетку, и Сережка предложил отметить. Он объяснил, что все взрослые люди отмечают важные события в жизни с вином. Мы купили бутылку и забрались в глубь городского парка. Вино было приторно-сладкое — я едва осилил половину стакана. А Сережка, воображая, прихлебывал из горлышка, но ему тоже было противно.

Я отставил рюмку.

... — Да, Павел, ему не надо. Рано еще. Хватит того, что уже покуривает, — сказала мама, косо взглянув на меня.

— Как там говорят: курить — здоровью вредить, — засмеялся отец и подмигнул мне. — Я закурил впервые на флоте и с тех пор каждый год собираюсь бросить. Но когда-нибудь обязательно брошу.

— Ты хоть начал в зрелом возрасте, а этот с пеленок попробовал. И курит-то, Павел, всякую ерунду. «Прибой», какие-то «Театральные».

— Ну, мам...

— Уж не врал бы: «Не курил, честное слово». А от самого табачищем несет как от извозчика. Тебе положить салат, Павел?

— Да-да, — кивнул отец и взял рюмку.

Они выпили за встречу и заговорили о своем, давнем. Мама все подкладывала отцу еду, все ухаживала за ним. То на кухню за чистой тарелкой сбегает, то за полотенцем. Он ей жизнь испортил, а она ему на колени полотенце расстелила, чтоб не испачкался. «Хорошо, что отец не лезет ко мне со своими вопросами. А то еще воспитывать начнет. Любят они все воспитывать», — подумал я.

— За твои успехи, сынок. За то, чтобы ты не делал в жизни ошибок, — предложил тост отец и задержался на какой-то своей прерванной мысли, так что на лице его отразилась борьба. Он коснулся рюмкой стола, и она чуть пролилась. А я отчего-то вспомнил, как когда-то, давно, врал мальчишкам, что проводил отца в дальнее плавание. Стыдно было сознаться, что отец ушел от нас навсегда. И я сочинил красивую сказочку про то, как отец мой ходит на большом торговом судне помощником капитана. Ходит едва ли не по всем морям и океанам. И из каждого порта шлет мне письма. И мне верили. Я так увлекся, что поверил в это сам. Честное слово, с ложью было легче жить, чувствовать себя не ущербным, не сироткой наполовину, как те мальчишки, у которых отцы погибли на фронте. Впрочем, они гордились своими отцами. А мне было так обидно. Но сейчас той острой обиды я уже не чувствовал. На какой-то миг стало даже его жаль.

Мать сделала движение рукой, но рюмку не взяла. Серая тень набежала на ее лицо, в глазах полыхнула давняя боль. Эти глаза встали из тех далеких, тяжелых дней, и я запомнил их на всю жизнь. Но, повинувшись более сильному чувству в себе, она так и не смогла опротестовать его слова, хотя бы внешним укором, остановилась на полпути и отступила. Улыбнулась, и во мне что-то зануло. Но отец, должно быть, ее понял и выпил в мертвой тишине один.

Потом он обратился ко мне и маме.

— Куда же думаем после школы?

— А, ну его, хочет быть художником. Только все это не серьезно, увлечение, — сказала мама.

— Художником? — удивился отец. — Конечно-конечно, помню, что-то ты рисовал, Эдуард. Но маленьким, по-моему, мечтал быть военным моряком. Адмиралом!

— Каким там адмиралом, Павел! Вбил себе в голову художественное.

— Мам, ты мыслишь, как Сережка Катриш. Художник всего лишь жалкий маляр. А вот инженер... Здорово звучит, я понимаю. Представляю себе, как Сережкина мать будет говорить тебе: «А мой на инженера учится», — сказал я и взглянул на отца, ища поддержку.

— А кто он такой, Катриш? — спросил отец.

— Да отец его в тресте угольном служит каким-то начальником. А сынишка у них хороший, воспитанный мальчик.

— Много ты знаешь, воспитанный, — занервничал я.

— Да, сынок, воспитанный мальчик. И я не нахожу ничего плохого в том, что он серьезно задумывается над своим будущим.

— Конечно, Катриш очень серьезный человек, — ехидно подхватил я. — Только скучно, ма, жить с такой логикой. Кратчайшее расстояние между двумя точками — есть прямая линия. Все правильно. Если я научился решать задачки по математике, то быть мне инженером. А я вот не хочу. Не тянет.

— Ничего, потом потянет. Учительница математики мне сказала, что у тебя способности.

— Мам, с тобой скучно, ты опять хвастаешься. И вообще.

Сколько можно об одном и том же? — Я поглядел на отца. — За полтора года я еще успею съехать.

— Я тебе съеду. Скажи ему, Павел, что можно оставаться художником, имея твердую специальность. Уже сейчас надо об этом задуматься.

— Постой, постой, Аня, а вдруг у сына талант, — не согласился отец.

— Талант? А вот его картины. — Мама указала взглядом на стену, где висели несколько моих давних пейзажей. — Что может из этого получиться?

Отец встал, подошел к картине с изображением дремлющих рыбацких баркасов. Я напряженно следил за ним.

— Такое вот оно и есть, море, — сказал отец.

— Эдик, а ну-ка покажи последнюю картину. Девушку в море, — просияла мама.

— Она еще не готова.

— ...Надо же. Везде море. Чайки. У тебя своя тема, сынок, — переходя от одной картины к другой, говорил отец. — Признаться, я сразу и не сообразил, что это твои работы.

Отец закончил осматривать картины, опять сел за стол. А я так и не понял, понравились они ему или нет? Мнение моряка мне было бы совсем безразлично.

— Сынок, ну покажи папе свою последнюю картину, — настаивала мама.

— Я спешу, — сорвался вдруг я. — У нас сегодня вечер в школе... Я опаздываю, ма.

— Какой вечер? — испугалась мать.

— Тематический вечер. Я пойду... извините. Ответственный я за дежурство, — бормотал я, пятясь к выходу. — Я постараюсь пораньше.

— Ты хоть рубашку-то свежую надень, — как-то беспомощно пролепетала мама. Она догадалась, что вечер я придумал. Мне стало ее жаль. Я потом все ей объясню.

Мама вышла проводить меня в коридор, плотно прикрыла дверь в гостиную. Вид у нее был встревоженный.

— Зачем ты так? В какое положение ты ставишь меня? Думаешь, он ничего не понял? Ты же удираешь от него.

— А я и хотел, чтобы он все понял. И стыдно, ма, должно быть ему. Иди, он тебя ждет. Продолжай прислуживать...

Мама опустила голову, прошептала:

— Никогда не думала, что ты вырастешь таким жестоким.

— Нет, мама, не жестокий, а справедливый.

Я хлопнул дверью.

Глава одиннадцатая

Я быстро сбегаю по ступенькам и внизу встречаюсь с Суриным. Старик каменно застыл в темноватом дверном проеме квартиры, в заношенной, страшно вылинявшей исподней рубаше и грязно-зеленом галифе с латками на коленях.

— Зараз не батька твой приехал? — спрашивает он, меряя меня туповато-тяжелым взглядом. — Давеча мимо окон прошел. Неужто, думаю, Пашка?

— Он самый, — отвечаю я и проношусь мимо.

Я выхожу из подъезда, и на меня хищником набрасывается ветер, пронизывает до костей. Я поднимаю воротник пальто и низко натягиваю фуражку. Куда пойти? С Гальцевой я опять в ссоре. К друзьям не хочется. А время надо убить. По крайней мере два часа. Может быть, в кино?

Моросит дождь. Шляпки фонарей на столбах мечутся из стороны в сторону. Улица под слабым напором мутновато-желтого света, в холодной калейдоскопической россыпи оконных огней кажется совсем незнакомой, чужой. И ни одного прохожего.

Я иду в центр города. Знобкий ветер подталкивает в спину. Я почти бегу. У кинотеатра «Победа» полно людей. Скверная погода им не помеха, потому что началась демонстрация итальянского фильма «Утраченные грезы». Говорят, очень хороший фильм. Мальчишки, например, уже мурлычут из него песенку: «Кумара, кумарелла»... На огромной афише — морячок сурового вида и пышноволосяя девица с плачущими глазами. Я внимательно разглядываю афишу, и чудится мне, что на ней изображена Лидка Степанкова.

Я должен увидеть Лидку. Я давно ее не встречал. Как она

там живет? Неплохо бы купить билеты и пригласить Лидку в кино. Представляю ее лицо. Она страшно удивится.

Я ныряю в толпу и протискиваюсь к кассе. На моем пути огненно-рыжий здоровый парень. Он у окошечка. Я трогаю его за плечо и вежливо прошу взять два билета, но верзила не реагирует.

— Эй, мальчик, не крутись тут,— говорит стоящий за ним пожилой мужчина, слегка отталкивая меня от рыжего, и я ухожу.

Конец очереди довольно далеко от кассы. На ближайший сеанс билетов, конечно, не достанется. Значит, на следующий — последний. Поздно. Лидка наверняка не согласится. А почему я решил, что она пойдет со мной в кино? У нее могут быть дела и поважнее. Или вовсе ее нет дома, прогуливается где-нибудь со своим другом. И вообще как-то нехорошо получается — встречаюсь с Гальцевой, а Степанкову приглашаю в кино.

И все-таки я хочу увидеть Лидку. Мне необходимо рассказать ей о встрече с отцом. Я думаю, она помнит моего отца. Лидка — единственный человек в мире, который связывает меня со старым двором не только детством с играми, тайнами и мечтами. Когда начались все эти нелады с отцом, ей одной я мог рассказать, что происходит у нас. Я знал, Лидка никогда никому не передаст и обязательно что-нибудь посоветует. Что-нибудь такое, от чего станет легче. Она всегда понимала меня. И сейчас вряд ли она согласится с мамой, что я поступил жестоко с ним. Едва стоит напомнить Лидке о письме, которое мы сочинили отцу вскоре после развода.

Мама тогда серьезно заболела. Ее положили в больницу. Я не знал уже, чем ей помочь можно. Однажды мы с Лидкой шли из больницы, и она посоветовала написать отцу письмо. Но ни о чем его не просить и не сообщать о материной болезни. И тут она рассказала мне случай, про который слышала от своей мамы.

В сорок четвертом году, зимой, под какой-то религиозный праздник, наши матери собрались в церковь. Их сагитировала бабушка Вера. Накануне в квартиру Киреевых принесли похоронку — вторую в наш дом. И женщины пошли в церковь помолиться за здоровье своих мужей. А церковь на окраине города.

В дороге их захватила метель. Такой неожиданно поднялся буран — в трех шагах ничего не было видно. Мама моя промерзла до костей. В осеннем пальто да в ботиках вздумала пойти. Еле-еле доплелась до церкви. А возле нее народу — не протолкнешься. Бабушка Вера головой покачала, сказала: «Мирá!» И предложила помолиться на образ у входа: «Авось, господь и здесь нас услышит». Они начали молиться, каждая за спасение своего, а мама так ооченела — руки поднять не может. Стоит и плачет. Тут вдруг старушка какая-то тронула ее за рукав: «Пойдем ко мне, милая». И увела маму. Старушка рядом с церковью жила. Обогрела и валенки дала. Мама поблагодарила ее и неожиданно призналась: «А я неверующая, бабушка. Зачем я в церковь ходила?» — «Неверующих нынче нет. В душе господь-то у каждого, — совсем доверительно произнесла старушка и печально прибавила: — Кого же нам еще просить-то за их, горемычных? Только господь им сейчас и поможет».

И все-таки валенки не уберегли маму от простуды. Слегла с воспалением легких. Дворовые раздобыли у Петрушиных козьего молока. А бабушка Вера готовила для мамы разные отвары. Выходили.

И мы написали об этом случае отцу. Письмо опустили в ящик на почте — надежнее. И я стал ждать папу. Конечно, он догадается и заторопится к нам. Отчего-то хотелось, чтоб он непременно приехал ночью... Просыпаясь, я прислушивался к каждому шороху за окном и долго не мог уснуть. Нашу встречу я представлял себе очень живо. Думал, как перво-наперво мы сходим на базар, купим маме самых красивых яблок и груш. А потом пойдем к ней. То-то удивится и обрадуется мама, увидев нас вдвоем из больничного окна! Но дни бежали, а отец не появлялся.

Как-то я с сомнением спросил у Лидки:

— Ты думаешь, мама не рассказывала отцу про то, как в церковь ходили?

— Только он забыл. Всегда вы, мужики, обо всем забываете, — вспыхнула она.

Отца я так и не дождался.

И вот я иду к Лидке и думаю о том письме. И передо мной

возникает комната в старом бараке. Я сижу за столом и аккуратно вывожу каждую букву на тетрадном листке в косую линейку. А Лидка топчется возле меня и громко диктует. Лицо у нее строгое, как у настоящей учительницы.

Интересно, помнит еще Степанкова про тот давнишний случай?

А дождь усиливается. В острые косые струи вплетаются льдистые снежинки, обжигают лицо. Фуражка на мне промокла. Но вот и Лидкин подъезд. Я снимаю фуражку, стряхиваю последние капли и, машинально пригладив волосы, надеваю ее опять. На голове противная мокрая тряпка.

И вдруг я чувствую, что страшно волнуюсь. На лестничной площадке третьего этажа я останавливаюсь. Сую руки под подоконник на батарею — тепло от металла словно вливается в меня.

Откуда-то доносится музыка. Может, Лидка крутит пластинки? Конечно, она достала новые пластинки. Всего несколько ступенек отделяет меня от нее. Но я не могу унять своего странного волнения и преодолеть эти проклятые несколько ступенек. «А чего я, собственно, боюсь? У меня к Лидке дело», — настраиваю я себя.

Рывок — и я у дверей квартиры Степанковых. На мгновение мне чудится, что я в старом дворе у квартиры № 7, пришел к Лидке после болезни, но отчего-то не решаюсь войти, медлю, то разглядываю фанерный почтовый ящик, то блестящую бронзовую ручку с инициалами «К. С.» А вокруг весна! Чистое, очень синее небо, какое бывает лишь в апреле... Как давно это было. Фокстрот. Танцующая девчонка в голубом.

Я нажимаю на коричневую пуговичку звонка. Музыка смолкает. За дверью долго возятся с запором. Наконец дверь распахивается, и я вижу длинного, тонкого парня в солдатской форме. У него короткая стрижка, смешно торчат большие уши. Парень, не мигая, смотрит на меня зелеными глазами.

— Ты к кому? — Голосок у него слабый, какой-то девчочный.

— К ним, — весело отвечаю я. «Черт возьми, какие локаторы у этого бойца?!»

Парень вытягивается — голова вот-вот упрется в притолоку.

Я скашиваю взгляд на погоны — пехота-матушка. Из глубины квартиры голос дяди Кости.

— Кто там, Иван?

— Клименко Эдик, бывший сосед,— подсказываю я солдату и тот, полуобернувшись, дословно переводит: «Клименко Эдик, бывший сосед». Несколько секунд он прислушивается к голосам, потом неуверенно приглашает:

— Заходи.

— Да нет, мне Лида нужна.

Но парень не успевает ответить. Из-за его спины появляется Лидка. Она в ситцевом, в крупный горошек, платье с круглым вырезом на груди, рукава — фонарики. Волосы не разделены, как раньше, пробором, не заплетены в толстую косу, а лишь слегка закреплены на висках. Густые длинные пряди лежат на плечах, набегают на грудь. Ей идет такая прическа. Лидка очень женственная и вообще какая-то новая. Прежние, пожалуй, высоко вздернутые от удивления брови.

— Эдик, ты что там стоишь? Господи, как ты вымок,— говорит она так, словно мы проживаем еще в бараке на Зорях и расстались всего несколько часов назад. Я не двигаюсь. Неужели ничего не изменилось в ней за прошедшие месяцы? — Проходи, проходи сюда.— Лидка втаскивает меня в узкий коридорчик. Втроем нам тесно. Лидка улыбается. Она рада неожиданному визиту бывшего соседа. А у меня сильно бьется сердце. Так сильно, что кажется, они его слышат.

— Здравствуй, Лида,— едва говорю я.

— Здравствуй, Эдик. А это Ваня,— торопливо указывает она на парня.— Познакомьтесь, ребята.

Я подаю руку. Ваня вяло тискает кисть.

— У папы сегодня день рождения. Пришли его друзья,— говорит Лидка.

— Тогда я в другой раз зайду. Привет дяде Косте.— Я делаю шаг к двери.

— Куда ты так торопишься, Эдик? У тебя что-то случилось, да? — спрашивает она и отводит отчего-то взгляд. Ваня неприкаянно топчется на месте. И ему и мне неловко. Но как выйти из этого дурацкого положения?

— Случилось, не случилось...— Я умоляюще гляжу на Ваню. Наконец он понимает мою мысль, двигает от нас по коридорчику.

— Я хотел с тобой поговорить, но ты сегодня, наверное, не можешь. У вас люди.

— Поговорим у меня в комнате. Они нам не помешают. Раздевайся, раздевайся. Я тебя угощу тортом. Мы с мамой пекли — пальчики оближешь.— Лидка расстегивает пальто. Я останавливаю ее.

— Ничего не надо. Пойдем постоим немножко в подъезде. Я тебя очень прошу,— говорю я, но волнение, которое меня охватило в момент встречи с Лидкой и которое, кажется, усиливается, напрочь исключают мою решимость вспоминать об отце, о тех давних событиях. И перехватив ее недоуменный взгляд, я вдруг думаю, что говорить вовсе ни о чем и не надо. Лучше все-таки уйти, просто уйти, ничего не объясняя.— Ладно, Лидок, я, пожалуй, пойду. Я потом зайду. Не вовремя.

— Эдик, я тебя не понимаю. Ты же пришел,— берет меня за руку Лидка.— А вообще ты становишься совсем не таким.

— А ты?

— Не знаю. Может быть, и я уже другая. Но ты все-таки не уходи, ладно? Я сейчас предупрежу своих.

Лидка исчезает. Я тихо открываю дверь, выхожу и спускаюсь к окну.

Лидка выскакивает следом в наброшенном на плечи пальто.

— Там собираются петь,— весело сообщает она, прыгая по ступенькам. И точно, там дружно запели. Лидка становится напротив. Пристально смотрит на меня, следит за каждым моим движением.

— У тебя новые пластинки? — спрашиваю я, но меня совершенно не интересуют ее пластинки. Я хочу, например, узнать, какое имеет отношение к Степанковым пехотинец Ваня.

— Пластинки Ваня принес. Знаешь, он служит в Германии.

— Так этот фитиль твой...

— Ваня?! О, господи, с чего ты взял?! Ваня — папин ученик. На токаря он его учил. Вот Ваня приехал на побывку и зашел проведать отца. Соображаешь?

— Вообще я понятливый. Просто замечательно, когда ученики навещают своих учителей на дому и приносят новые пластинки.

— Эдик, по-моему, ты отвлекаешься. О пластинках мы заговорили случайно. Я его попросила, вот он и принес. Глупо. Он старше меня на пять лет. Я для него совсем девчонка.

— Конечно, ты маленькая девочка для него. Он для тебя большой дядя.

— Остановись, Эдик, пожалуйста. Ваня славный парень, и все. На вот лучше, поешь конфеток.— Лидка протягивает горсть шоколадных конфет.

— Спасибо, не хочу.

— Хочешь, Эдик. Будто я не знаю, какой ты сладкоежка. Я беру конфету и прячу в карман. Лидка сует туда остальные. «Сказать ей, что я хотел взять билеты в кино? Любопытно, как она к этому отнесется,— прикидываю я.— А зачем? Мало ли чего я хотел. Тут, оказывается, есть хороший человек Ваня».

— Ну, о чем задумался? — Лидка трясет меня за воротник.— Тебя опять мучают великие идеи? А... а, догадываюсь. Ты, наконец, написал картину, и что-то тебе в ней не нравится. Или, может, как раз наоборот.

— Ошибаешься, Лидок. Идеи меня не тревожат, и картину я еще не написал. По-моему, все идеи помахали ручкой, когда уезжали со старого двора.

— А что, их нельзя было захватить с собой?

— Наверное. Но мы так торопились. Ты еще не забыла нашу жизнь на Зорях?

— Смеешься, Эдик. Недавно вот вспомнила, как ты называл меня Лидухой-капризухой. Совсем несправедливо. Капризной я не была. А помнишь, как ты прокатил меня на раме Сережкиного велосипеда и мы чудненько врезались в столб? Тебе ничего, а я руку вывихнула. А однажды... однажды ты признался мне в любви...

Я отвожу взгляд. Почему ей не стыдно говорить мне об этом? Я не люблю об этом вспоминать.

— Ну вот, видишь, я и тебе приносил только несчастья.

— Ой, Эдька, да я никогда всерьез не сердилась на тебя. То же было наше детство, правда?

— Да, то было наше детство,— согласно киваю я. Сейчас я попрощаюсь и уйду. Разве она способна понять меня? Кто я теперь ей? Ее ждет Ваня со своими пластинками.— Я, пожалуйста, пойду, Лида. Тебя там ждут.

— Постоим еще, а? Ты положи фуражку на батарею, пускай подсохнет.

Я снимаю фуражку и кладу на батарею. Лидка приглаживает мои волосы.

— Лида, ты не забыла, как мы письмо отцу писали? Давно. Ну про то, как женщины нашего двора в церковь ходили, в войну. Мама моя потом еще заболела. Мы хотели прослезить его? Крик души...

— Эдик, чем ты так встревожен? Какой-то ты странный.

— Ты не ответила. Или, может, забыла? Забыла, да? — с отчаянием спрашиваю я.

— Ну почему ты так решил? Письмо я хорошо помню...

— Тогда скажи, зачем мы его написали? Смысл? Или дети мы были, несмышлениши.

— Наверное, был смысл. Мама твоя очень переживала, совсем извелась. А ты? Ты же ревел!

— Я? Ревел? Не придумывай.— У меня внезапно запылали щеки. «Может, не стоило спрашивать у нее об этом письме? Надо было сразу рассказать о приезде отца,— думаю я.— Как все глупо получается сегодня».

— Мы, Эдик, так вас жалели. Помнишь, когда маму твою в больницу положили, ты отказался у нас пожить. Всем двором упрасивали. Каждый к себе зазывал, а ты упрямился: «Нет, дома буду». И от нашей еды отказывался... Картошку сам жарил. Она у тебя подгорела, а ты ел и прихваливал. Смешной. Потом баба Нюся тебя все-таки уговорила. У нас готовила тебе и тете Ане в больницу. Вот тут как раз мама мне рассказала про тот случай в войну.

— Промокашки, папеньку вздумали растрогать. Душесципательное письмецо нацарапали. А он так и прозрел. За голову схватился. Чуть, чуть! — твержу я, распаяясь.— Чихать ему

было на нас. Мать он не любил, ясно. Никогда! И мне стыдно за это письмо. Как будто милостыню выпрашивал.

— Чего ты расхотелся?! Чудак, сколько лет прошло. Определенно у тебя запоздалая реакция.— Лидка подтягивает воротник пальто к подбородку, рассеянно смотрит в окно.— По-моему, мы поступили правильно. Вникни, Эдик, ну когда-нибудь мы думали о том, как любили наши матери? Как отцов с войны ждали? Наверное, они на край света пошли бы, если в спасении наших отцов имелся б хоть какой-то шанс. И никакой ураган, никакая б стужа не удержали их... Не мучься, Эдик, смысл был в том письме. И милостыню ты не выпрашивал.— Поразмыслив о чем-то своем, Лидка добавляет с сожалением: — Все-таки он должен был приехать.

— А как бы ты поступила на месте моей матери, если бы он вдруг появился сейчас? — спрашиваю я.

— Ой! Дядя Паша приехал? — догадывается наконец Лидка.

— Прибыл.— Острая жалость к себе вдруг охватывает меня. Я отворачиваюсь к окну, потому что стыжусь слез. Они, кажется, вот-вот брызнут. За окном сыплет и сыплет дождь, гудит ветер. По черному стеклу катятся крупные капли, ударяет крупа.

Лидка становится рядом. Очень близко.

— Он сейчас с мамой?

— Ну да. У них вечер воспоминаний... Мама перед ним лебезит. А я нормально смотреть на него не могу. Как представлю себе то... А мама рассыпается: «Павел, Павел». Противно... Платье новое надела. Он же ее бросил, бросил. Я думал, она гордая. Простить предательство, ничего себе штучки! Вот я не выдержал и ушел. Мама, видите ли, не думала, что я вырасту таким жестоким. Я поступил жестоко с ним? А как я должен был с ним поступать?! На уши становится от счастья...

— Не знаю, Эдик. Но вообще ты зря ушел. Она теперь одна, понимаешь? В первую очередь ты с ней поступил жестоко.

— Ну вот и ты туда же. Хватит мне. Жестокый! Жестокый! — Я натягиваю фуражку.— Вы только одни не жестокие... Правильные... Добренькие.

— Постой, Эдик. Не горячись, сумасшедший!
Но я уже мчусь по лестнице. Лидкин голос сверху.
— Ты иди домой... домой... пожалуйста.

* * *

Дождь...

Я сейчас промокну до ниточки, заболеоу и умру. А какой смысл жить, если тебя никто не понимает. Если все в мире заняты только собой и нужен ты им не более говорящего попугая в клетке. Для потехи. Я обязан приходить из школы и вещать, что получил очередную пятерку. И все довольны — мама может похвастаться своим подругам или вот отцу, что сын круглый отличник, примерный ученик. Классной я регулярно повышаю общий балл по успеваемости. Все хорошо, потому что я не ошибаюсь. Мне нельзя ошибаться. Если бы я получал двойки и был бы общепризнанным шалопаем, я бы, наверное, жил интереснее. Во всяком случае, у шалопаев есть возможность устраивать себе маленькие праздники. Заработал четверку — ура! Да, я должен жить для чьих-то удобств. Жить добрячком, например, запросто прощающим предательство...

Нет, не о том я думаю. Это все на поверхности мыслей. А в глубине — моя неудавшаяся жизнь. И что в ответе на последней странице? Я писал картины, а теперь почти бросил. Занимался футболом — бросил. Я все побросал, и в конце концов меня тоже бросили. Вначале отец. Хотя нет, отец — это другое. Катриш и Лидка. Да, меня предал мой друг Сергей Катриш. А сегодня меня не поняла Лидка Степанкова. Если бы мы жили в том дворе, она бы догнала, она бы выпалила тысячу слов, и на тысячу первом я бы, может, согласился с ней. Но она не помчалась следом по лестнице. Как же, там гости, там Ваня со своими пластинками...

А дождь не кончается, только стихает на мгновение, и тогда во мгле тяжелый и клейкий снег вырывает белесую просеку.

В ботинках хлюпает. Мокрые шевиотовые брюки противно липнут к коленкам. Я иду, кажется, к вокзалу. Уже слышно,

как проносятся составы. На вокзале я погреюсь. Все-таки не хочется домой. А может, я просто боюсь идти к ним?

Фонари у вокзала тлеют. На площади несколько автомобилей и почти нет людей. Сквозь шум ветра и дождя, рокот состава едва пробивается голос из репродуктора. Похоже, прибывает новороссийский. Сесть бы сейчас в теплый вагон и уехать к морю. К Ефимычу, например. Забраться бы в какую-нибудь каморку на берегу и начать новую жизнь. Каждый день с восходом солнца устанавливать на песчаном берегу мольберт и писать, писать картины о море, и пусть летят годы. Годы не в счет, если однажды вернешься в родной город знаменитым художником. Может, это и есть счастье?

А я хотел умереть. Слабак. Разве получают из таких, как я, настоящие люди?

Я вхожу в здание вокзала. Навстречу несутся люди с испуганными лицами. Я прижимаюсь к стене и не могу сдержать улыбки. У дверей на перрон пробка. Хриплый голос дежурного напоминает о вежливости.

— Граждане, но нельзя же так. Успеете, все успеете.

В зале ожидания я нахожу свободное местечко, как раз напротив часов. Они показывают десять. Тепло. Воздух наполнен привычным вокзальным запахом человеческой скученности, неустроенности. Здесь ни о чем не хочется думать. Когда справа от тебя уплетает крутые яйца мужик в заячьей шапке, а слева похрапывает старик, хочется закрыть глаза и также дремать или чего-нибудь жевать и жевать. Мысли словно испарились.

И вдруг я вспоминаю маму. Ее лицо, когда она, взяв меня за руку, пыталась представить ему. И я чувствую, как кто-то дотрагивается до сердца кусочком льда. Мама... Пожалуй, Лидка права, и я своим уходом только одной маме сделал больно. Мама, как она там с ним одна.

Я поднимаюсь и ухожу домой.

Я бреду по улицам и переулкам нашего города и думаю о маме. А дождь и мокрый снег все сыплет и сыплет. Впрочем, плевать мне на все это. Мне жаль маму.

Я отпираю дверь. Хорошо, если бы они уже спали. Но мама встречает меня. Руки сложены на животе. Она разглядывает

вымокшего сыночка с печальной усмешкой. В квартире тихо. Есть минуты, когда наши матери все понимают без слов. Наверное, это была та минута.

— Если будешь есть, на сковородке котлеты. Чай еще горячий. У нас Яков Иванович был. Только не шуми. Я постелила папе на раскладушке, — шепчет она и уходит в комнату, но через несколько секунд возвращается. — Возьми, вот подарок отец тебе привез к шестнадцатилетию. Да не успел отдать.

Я открываю синий коробочек. Часы марки «Победа».

Я смотрю на маму, та на меня, и между нами вдруг возникает и стремительно удлиняется тяжелая пауза. Наконец я нахожу в себе силы и говорю:

— Мам, прости, а? Это нехорошо, я понимаю.

Я делаю неловкую попытку ее обнять. Мама чуть отстраняется, мученически улыбнувшись. Она крепится изо всех сил, но предательская слеза блестит на реснице.

— Посудой не греми, сынок, — признает она и отворачивается.

— Я не буду есть.

— Как хочешь... А папка завтра рано уедет.

Отец завтра уедет, но я не рад этому. Не пойму, что у меня на душе. Смесь вины и тревоги, какая-то гарь.

...Ночью я вдруг вскакиваю от какого-то внутреннего толчка, и ко мне сразу возвращается явь. Отец... Он здесь, в соседней комнате. Я слышу его полусшепот.

— Приехал на один вечер. За сколько-то лет, — говорит он матери. — А по-хорошему, надо бы на шахту сходить. Друзей поведать. Да и соседей бы не мешало увидеть. Как там тетка Вера, жива-здоровая?

— Здорова. Что ей сделается. Только раздобрела тетя Вера, не угадаешь, — отвечает мама.

— Все такая же говоруха?

— Говоруха, Павел, говоруха.

— Помнишь, бывало, ни одного дела во дворе без тетки Веры не обходилось. Тут как тут. Всегда со своим мнением — ни в тын, ни в ворота. Яков Сурин все с ней спорил. Как он: «Проку от тебя, Семеновна, негусто. Ты у нас так, для сугрева души». —

Отец вздыхает.— Сдал дядя Яша, не узнать. Видно, крепко тоскует.

— Тоскует, Павел, не может забыть. Да и как забудешь такое. Живет как неприкаянный. Шаромыги слабинку почувствовали, валят чуть свет опохмеляться. Уж и говорили ему. Тут на днях тетка Вера учудила. Невесту ему привела. Ну чего бы не сойтись, правда? Сколько же можно одиночество коротать. Какое там — выставил обеих. Тетка Вера рассказывала. Старушка, мол, опрятная, хозяйственная. Смотрела б за ним как за дитем малым. А он заладил одно: «Пошто ты, глупая, Варьку мою забыла».

— Дядя Яша. Какой мастер! Всегда веселый, живой. Как сейчас его помню перед войной. А тут рюмку выпил — и в слезы. На судьбу стал жаловаться, на соседей. Забывать стали тропку к нему.

— Как забывать? У всех, Павел, свои семьи, заботы. Иногда забегу, занесу что-нибудь поесть. А под праздник собралась убрать у него. Обиделся. «Что же я, Анна, без рук, по-твоему? Пссиди просто, поговорим». А есть время сидеть, Павел?

— Вот и он про то.

Отец глухо кашляет. Пауза. За окном лижет стекло ветер.

— Ты-то счастлив с ней? — вкрадчиво спрашивает мама.

— Живем вроде мирно. Дочурка подрастает... Жилье есть, правда, похуже вашего. У вас-то хоромы. Эх счастье, счастье! Где оно? Веришь, Аня, в тебе я никогда не сомневался...

— Не говори, Павел, зачем?

— Я всегда знал, что сына ты на ноги поставишь. А душой кривить не буду. Болит сердце за вас. Да уж, видно, не судьба...

Мне совестно это слышать, и я долго, шумно ворочаюсь. Голоса смолкают. Подходит мама, с ласковой осторожностью поправляет одеяло и целует меня в щеку. Я притворяюсь, что сплю, а в голове тяжелые, вязкие мысли. Весь мир суживается в них до размеров комнаты, в которой сейчас мать и отец, — близкие мне и такие чудовищно далекие друг другу. И только я жадно мечусь между ними — их сердцами и памятью.

«Не судьба... не судьба», — горьким эхом отражаются в душе

отцовские слова. Что значит — «не судьба». В его силах было тогда остаться. Легче всего свернуть на судьбу.

А может быть, существует что-то такое, чего не постичь еще моей душе, не понять сердцем, и я осуждаю отца напрасно? И вообще имею ли я право осуждать? Но ведь есть же его письма с фронта. «Милая, родная моя Аннушка!» Они все начинались так... Мама хранит их, даже перечитывает. В строчках давно отслоилась ложь, а она ничего не хочет замечать...

— Слышишь меня, Аня? Ты не спишь? — опять голос отца.

— Не сплю, Павел, какой сон?

— Если бы все можно было повернуть назад...

— Знаешь, Павел, я много тогда передумала. Мы, женщины, долго можем терпеть, но не прощать. Даже если бы ты тогда сразу вернулся от нее, ничего бы у нас не вышло. Ты сделал тогда выбор, и я по-своему тоже. Такая правда, Павел...

Глава двенадцатая

После отъезда отца я взялся за картину. Мама таки показала ему мою «Ночную купальщицу». Картина отцу понравилась, и эта его похвала, конечно, одобренная еще мамиными восторгами, стимулировала меня.

В библиотеке мне с огромным трудом нашли Ренуара. «Купальщицы», откровенно говоря, задели мое самолюбие, и я наивно полагал, что смогу так. Но все оказалось гораздо сложнее. Я вдруг обнаружил в своей картине серьезные недостатки и принялся их устранять с отчаянным упорством, порой остро чувствуя, что «Купальщица» уводит меня от первоначального замысла и я что-то безнадежно теряю. А что именно — бог весть.

Я писал картину испуганно, на втором дыхании, и мне верилось, что конец уже близок: вот-вот, еще один мазок... Но наступила зима, в школе началась подготовка к новогоднему балу, и меня опять завалили работой. Пришлось «Купальщицу» отложить.

...На каток я хожу с Гальцевой. Чаще всего вечером после школы. Вечером кататься лучше. Из колокольчика-репродуктора льется музыка. Беговая дорожка ярко освещена прожекторами.

А в конце февраля вдруг выяснилось, что за Гальцевой ухлестывает тип из горного техникума. Их видели вместе. Его звали Стас. Иванцов или Иванков, какая, впрочем, разница.

«Ничего, она еще пожалеет», — утешал я себя какой-то смутной мыслью о своем великом предназначении. Почему-то всегда в своих неудачах я искал спасение в том необыкновенном будущем, которое ждало меня. Я шагал в него смело, минуя годы, и видел себя знаменитым человеком.

Я долго бродил тогда по вечернему городу...

Домой пришел совершенно разбитый. У нашего подъезда стояла толпа людей. Много старушек. Одна из них о чем-то рассказывала ворчливым голосом. До меня донеслось: «Не хворый помер. Не прогневил бога. За все муки его господь тихонько-то и прибрал».

И вдруг в этой толпе я увидел маму. Что она там делает? Мама терпеть не могла пустословить с соседями у подъезда. Я тронул ее за плечо.

— Мам, чего ты здесь стоишь?

— Сурин умер, сынок. Яков Иванович...

* * *

Сурин умер необыкновенно легко. Так, во всяком случае, решили женщины нашего дома. В последнее время он сторожил где-то неподалеку, на стройке, на дежурство уходил вечером, когда у подъезда собирались соседи. Сурин здоровался с ними и шагал себе дальше. А тут вдруг заговорил, чего никогда не было.

— Верно, поди, бабы, весна не за горами... Шибко землей пахнет. Пережили, выходит, зиму-то. Эхма. Спели бы, бабы, чего-нибудь.

И Сурин вдруг весело запел: «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя...»

Женщины засмеялись — высоко, мол, взял, Яков Иванович. Он попробовал по-другому, рванул песню и неожиданно, точно подкошенный, осел...

У Сурина в городе не оказалось родственников, и хоронили

его жильцы бывшего дома по улице Красных Зорь. В квартире Сурина женщины хорошо прибрали. Вымыли полы, железную кровать с провисшей сеткой вынесли в подъезд. Но следы запустения и какой-то торжествующей бедности все-таки остались. Кислый дурной запах мутил, наверное, его навечно впитали земляные от табачной копоти стены.

То был запах долгого одиночества и тоски.

Я смотрел на желтолицего покойника, с измятым, навалившимся на грудь подбородком, и мне казалось, что даже в гробу Сурин умудрился лежать как-то наскоро. И я подумал, что старик так и жил наскоро, как живут только долгим томительным ожиданием, откладывая все на потом, или несчастьем.

Женщины, которые постарше, сидели на стульях у гроба очень ровно и вглядывались в спящее лицо старика с туповатым, торжественным вниманием. Не сама смерть, не страх перед ней, а ясное понимание ухода угадывалось в каждом гордо скорбящем облике. Женщины помоложе стояли рядками за ними, и в лицах выражение горечи утраты было непрочным, ломким.

Заходили мужчины и, постояв, покомкав шапки, опять выходили в подъезд курить.

Все говорили о Сурине тихо, вполголоса, конечно, о том, какой это был столяр-краснодеревщик, какие руки имел! Каждому было что вспомнить, и каждый это свое, связанное с Суриным, вспоминал с удовольствием.

...Я слушал взрослых, поживших на свете людей и испытывал сложное чувство: печали, жалости к старику и протеста. Мне казалось, что взрослые, из принятого на похоронах приличия, специально умалчивают о том, что Сурин последние годы пил. Несколько слов о том, что старику не хватало мужества жить — не в счет. «Как это так — не хватало мужества жить?! Разве он один пострадал? Только в наш дом на Зорях, кроме Суриных, еще две похоронки принесли. Но люди-то справились с горем и живут по-человечески. Даже Настя наша не пропала,— думал я.— Неужели так трудно было выставить краснорожих забулдыг из квартиры и сказать себе: «Нет!»

Но по тому, как бывшие соседи с настойчивым упорством перечисляли сделанные Суриным этажерки, кухонные столы и табу-

ретки, ставни и двери, которым «никогда не будет износа», я начинала понимать, что мера привнесенного им добра была неизмеримо выше последних, бестолково прожитых лет. Нет, Сурин не сгинул. И люди провожали не жалкого, брошенного всеми пятачку, а Мастерового! Конечно, если бы мы жили на Зорях, старик не был бы так одинок... Я отлично помню его чистую каморку, с марлевыми в пол-окна занавесками. Когда-то, очень давно, он водил щеглов и был дружен со всеми мальцами нашего двора. Он жил тихо, словно боясь нарушить покой навсегда ушедших жены и сына, оставшихся во всем в его комнате: в скромной мебели, в стенах, в запахах. Наверное, он любил то, прежнее свое жилье, любил памятью о счастливых днях молодости, надежд и берег от любого равнодушного прикосновения. А здесь все ему было чужим — эта просторная квартира с водопроводом, ванной, персональным туалетом, эта асфальтированная улица с большими домами за окном.

И потом, когда гроб с Суриным мужчины понесли из подъезда, я подумал, что не смогу представить себе старый двор и вообще детство без этого старика.

Поминки организовали в складчину. Много на поминки намело дружков Якова Ивановича. Они быстро захмелели и разговаривали шумно, как в пивной.

После поминок мы с Лидкой разнесли по соседям стулья и помогали убирать в квартире. Кровать не собрали, просто поставили сетку и спинки на прежнее место к стене. Сетку накрыли зеленым одеялом.

— Эдик, иди-ка сюда, — позвала меня Лидка. Она что-то разглядывала на этажерке.

Этажерка стояла у окна. Она была затейливо украшена: крученые стойки поверху соединены перильцами и покрыты резной вязью. На средней полке — толстые и тонкие книги. Несколько томов старой энциклопедии, школьные довоенные учебники с желтыми корешками и новенький трехтомник Пушкина в синем коленкоровом переплете. Наверху, под перильцами, в самодельной фанерной рамочке, фотография — крепкий, пышноволосяный парень в двухцветной куртке со значком «Ворошиловский стрелок» возмущенно смотрел в объектив глазами Якова Ивано-

вича. Парень стоял, положив ладонь на плечо сидящей круглолицей, тонкобровой женщины. Наверное, женщине посоветовали улыбнуться, и она попыталась, и фотограф запечатлел эту попытку — напряженную и некрасивую улыбку.

— Это сын Якова Ивановича, Федор. Он в танке сгорел в боях за Москву. А жена Сурина, Варвара Тимофеевна, погибла в бомбежку, — сказала Лида. — Ты же знаешь.

Я поставил снимок на место рядом с коробкой из-под «Казбека», в которой лежали награды Сурина: орден Красной Звезды и две медали. Их сняли с бархатной подушечки и сложили сюда.

Лида подала мне томик Пушкина:

— Вот, почитай.

«Дорогому Якову Ивановичу Сурину, фронтовику, отцу Федора Сурина, героически погибшего в боях за нашу Родину, от учащихся 7 «А» класса семилетней школы № 8. На память о встрече».

Дарственная надпись была выведена очень старательно, под линейку, фиолетовыми чернилами, а цифры написаны отчего-то черной тушью, крупно...

Поздним вечером я провожаю Лидку. Над городом высокий небосвод с густыми яркими звездами. Мы идем медленно. Под ногами похрустывает тонкий ледок. От сегодняшнего дня у меня тупая тяжелая голова и в груди что-то саднит.

Мы говорим о Сурине.

— Ему только шестьдесят лет исполнилось, а выглядел он таким старым, правда? — Лидка прячет руки в карманах пальто, и плечи у нее приподнимаются.

— Наверное, от горя. Да еще выпивал.

— В старом дворе он тоже выпивал, — вздыхает Лидка. — Только как-то по-чуждому. Никто всерьез не принимал. Четвертинку купит, всем показывает. А потом с кем-нибудь из наших выпьет и на могилку идет, — говорит Лидка каким-то не своим, огрубевшим голосом. — Конечно, тогда мы все вместе были. А теперь каждый зарылся в свою нору. Яков Иванович, бывало, встретит, в гости зовет. Умоляет. Я только один раз у него и была на новой квартире. Папа договаривался с Яковым Ивановичем сделать у нас антресоли.

— Антресоли понадобились. Так просто не могла зайти, да?

— Чего ты, Эдик? — Лидка останавливается, удивленно смотрит. — Разве я не понимаю.

— Ну и что из этого! Ты не пришла, да другой, да третий. Я тоже ни разу не соизволил. Помнишь, ты передала со мной пирожки Сурина? Если бы ты знала, как он обрадовался. Уговаривал меня чайку с ним попить. Я заупрямился, отказался. Времени, видите ли, не было. Вот я и хочу понять, Лида, почему мы стали такими? Неужели нам трудно было посидеть со стариком, поговорить. Теперь Сурина нет. На кладбище снесли, зарыли. Баба Вера слезу выжала. Если мы забывали о нем, о живом, ты думаешь, кто-нибудь вспомнит о нем — мертвом?! — говорю я запальчиво, но чувствую, как что-то сопротивляется внутри, слова неубедительны, с каким-то ложным налетом.

— Ты не прав, Эдик. Будут помнить нашего дед Яшу. Сурины Родину защищали. Разве такое забывается, — взволнованно возражает Лидка. — Я вот сегодня узнала, что Якова Ивановича медицинская комиссия не пустила на фронт. Он так возмутился. Представляешь, в обком партии ездил. И настоял. А что мы вообще знали о нем? В нашем дворе мы вечно что-нибудь подстраивали старику. Помнишь, мы нитки натянули между акацией и воротами, а Сурин запутался в них и чуть не упал? Неужели нам хотелось, чтоб он упал?

— Да нет. Пугнуть хотели, в шутку. Одна из ниток была соединена с пороховой хлопушкой. Я сконструировал.

— Я не помню. Она взорвалась?

— Осечка вышла.

— Ненормальные, над инвалидом вздумали потешаться... Знаешь, Эдик, а он мне сделал детскую кроватку и еще, на день рождения, клетку со щеглом подарил. Это я очень хорошо помню. Папа тогда только демобилизовался. Папа после войны еще три года служил. Он воевал с бандеровцами. Кстати, Яков Иванович папе помог устроиться на завод токарем. Папа до войны в каких-то мастерских работал и не хотел возвращаться в ту «шарашкину контору». А Сурин на заводе тогда работал.

— Нам тоже Яков Иванович помогал. Однажды, еще в том доме, он нам двери навесил и ставни подремонтировал. Мама

отдала ему отцовскую тельняшку, а я, дурной, пожалел.

— Я помню его в этой тельняшке. Боцман,— смеется Лидка, но сразу серьезнеет.— Мама говорит, что Яков Иванович очень любил Варвару Тимофеевну. Очень, понимаешь. Если бы не война...

Мы стоим у подъезда в Лидкином доме. Желтый, в металлической сетке, фонарь над головами хорошо освещает грустное лицо Лиды. Мы вспоминаем наш дом на улице Красных Зорь и время от времени возвращаемся к похоронам Сурина. Уже поздно, но мне не хочется уходить, и Лидка, по-моему, тоже не спешит. Иногда я закуриваю. Делаю всего несколько затяжек и выбрасываю. Почему-то сегодня очень горький табак.

— Ты обратил внимание, как постарел наш двор? Как матери наши постарели,— говорит Лидка.— А много ли они видели хорошего в жизни? Сколько бед, а? Одна радость — мы. Вся надежда на нас...

— Так мы не подведем, Лид. Очень даже не подведем.

— Знаешь, Эдик, я в одной книжке прочитала, что детство человека — это не прошлое. Понимаешь, не прошлое, потому что в нем нет ничего серьезного, ну как бы глубоко осознанного до конца. В детстве человек живет среди чудес, как во сне. Без боли и страданий. А настоящее прошлое — это большая память. Это борьба и страдание.

— Значит, по-твоему, наше детство — сон. Значит, никого и ничего вокруг не было. Только призраки. И Сурин вот, и отец мой. И барак наш на Зорях,— срываюсь я.— Нет прошлого, значит, мы пустые и глупые.

— Да нет же, нет, Эдик. Я не о том. Конечно, я не согласна с писателем. Детство — это наша память. Но даже если сон. Представляешь, какой он особенный?! — Лидка задумывается, потом спрашивает: — Слушай, а куда делся из нашего города цыган-жестянщик? Помнишь, ходил такой бородач с трубкой жести на плече. Все кричал: «Чиню ве...о...дра...астрюли».

— Лидка, и ты его помнишь? Я тоже о нем думал. Правда, куда он делся? Я думаю, он починил все кастрюли и ведра в нашем городе и подался дальше.

— Видишь как,— качает головой Степанкова.— Сначала сло-

мали наш дом, потом ушел из города жестянщик, а теперь вот дед Яша умер...

Тут Лидка долго смотрит мне в глаза. Она хочет что-то сказать мне, что-то очень важное. Я чувствую. И не может, потому что страшно волнуется. И я тоже волнуюсь и тоже что-то хочу сказать ей. Наше волнение не имеет ничего общего с похоронами, с длинным, наполненным тягостными событиями днем. Совершенно незнакомое волнение.

— Лидка, а мы остаемся,— вдруг говорю я, и мой голос теряет силу, сбивается на шепот.— Мы остались.

— Да, остались,— говорит Лидка и тоже отчего-то шепотом.

— А ты еще ходишь, ну... дружишь с ним? С тем парнем,— спрашиваю я и беру ее руку, и Лидка слегка подается вперед, съезживается.

— С каким парнем? — не понимает все-таки она.

— Ну тот. Ты же приходила к нему на свидание? К нам туда... Помнишь, ты еще спешила к нему, просила, чтоб я занес пирожки Сурину.

— Глупый. Никогда ни к кому я не ходила на свидание. А тогда я очень торопилась на тренировку. Ты больше не спрашивай, почему я приходила туда, ладно?

Она опускает глаза.

И тут я все начинаю понимать. Абсолютно все! Кто сказал, что детство — это не прошлое? Кто мог такое выдумать?!

Я поглаживаю ее ладонь, и мы долго молчим. Мы одни.

— Лидка, если бы мы жили на Зорях, наверное, все было бы не так. Я какой-то такой...— шепчу я.

— Какой-то такой. Но уже поздно, Эдик, и надо идти домой. Правда, нас дома ждут, потому, что мы еще маленькие,— отвечает Лидка.

— Ты иди, если хочешь, а я еще постою.

Лидка прикасается ладонью к моей щеке, не отпускает.

— Маленький мальчик, ты не понимаешь, что я завтра уеду на соревнования и меня долго не будет.

— Но ты вернешься, да? Ты же вернешься...

— Эдька, господи, ты ли это?!

Я бегу по длинному проходному двору босиком. Я задыхаюсь от быстрого бега — там за двором сразу начинается море! Ярко светит солнце, потому что наступило лето. От густой голубизны чистого неба двор будто осыпан медным купоросом. Я бегу не один, со мной ребята нашего и соседних домов по улице Красных Зорь. У ворот стоит, расставив широко ноги и размахнув руки, старик Сурин. Он в тельняшке. Он, как всегда, лохмат и весел. Старик жутковато хохочет и норовит поймать кого-нибудь из нас, но мы проскальзываем сквозь его огромные пальцы и вперед — к морю! Мы прыгаем в воду — вода какого-то медного цвета. Летят золотые, звонкие брызги. И я вдруг вижу рядом с собой Лидку Степанкову. У нее волосы замечательно рассыпаны по плечам, и так хочется прикоснуться к ним. Но я не могу дотянуться. Лидка уплывает от меня и смеется. И тут огромные волны накрывают наш дом. Его нет — торчат лишь две стейки дяди Костиной антенны.

Я остаюсь один. Ужас охватывает меня — я один в пустом море. Лидка далеко, почти у горизонта, девушка с распущенными волосами. Ночная купальщица, сомкнувшаяся с морем, замершая в нем, точно вылитая из бронзы статуэтка. Она не слышит моего отчаянного крика: «Ли...да...а, Лидочка...»

Я просыпаюсь. На глазах слезы.

Утро.

...Иногда мне кажется, что прожитое — прекрасное и печальное — было как бы и не в моей жизни. Что я уходил тогда вдаль с ясным ощущением не потерь, а только надежд и обретений. Но что-то в этой своей жажде движений и поиска я невосполнимо утратил.

Нет, было-таки, было тихое весеннее утро после похорон Якова Ивановича Сурина. И жизнь продолжалась. Мама возилась на кухне. В ванной шумела вода, а в репродукторе смело пела забытая теперь Ружена Сикора...

Я встаю. Меня ждет трудный день. Буду заканчивать картину. Сегодня я должен поставить в ней последний мазок.

Да, я должен закончить картину и приступить к новой. Я уже знаю, о чем она будет.

Владимир Владимирович БАРВЕНКО

УТРО ЧУДЕС

Ответственный за выпуск **И. Жеглов**

Редактор **И. Шевелева**

Художественный редактор **Г. Комаров**

Технический редактор **Н. Александрова**

Корректоры **Н. Понкратова, И. Ларина**

Сдано в набор 10.04.89 Подписано в печать 29.06.89. А 04882. Формат 70×108 $\frac{1}{32}$. Бумага Тип. № 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 5,6. Усл. кр.-отт. 6,12. Учетно-изд. л. 6,8. Тираж 75 000 экз. Цена 45 коп. Издат. № 123. Заказ 9—202.

Адрес редакции: 125015 Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а

Ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес полиграфобъединения: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Суцневская ул., 21.

Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-01147-3

ISSN 0131—2251

45 коп.

